

[Polaris]



ВЛЮБЛЕННЫЙ ПРИЗРАК

Фантастика Серебряного века

Том V

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXV



Salamandra P.V.V.

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПРИЗРАК

Фантастика Серебряного века
Том V

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Влюбленный призрак: Фантастика Серебряного века. Том V. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 340 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXV).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



ВЛЮБЛЕННЫЙ



ПРИЗРАК

Мирэ

ДВА ГНОМА

Мои руки лениво лежали на веслах, и лодка медленно, задумчиво плыла среди сверкающей воды...

Была такая ночь, когда все мертвые похороненные выходят снова в жизнь и населяют землю, ревниво пряча под одеждами скелеты.

В такую ночь я плыл по Рейну, лениво положивши руки на сложенные весла и отдаваясь всей душой ритмическому плеску волн, сиянию луны и собственным мечтам.

Мои мечты были невеселы, печальны, как бледный луч луны, когда он медленно скользит и умирает на черепичатой блестящей крыше...

Перед прогулкой приходил ко мне портной и требовал уплаты долга.

И мне мерещились, словно в серебряном тумане, ряды таких же визитеров, таких же скучных и ненужных.

В кармане моего жилета со злорадством прыгала моя истрепанная записная книжка и тихо мне подсказывала цифры: портному — 230, сапожнику — 17, кондитеру — 79...

— Не стоит жить... — меланхолически шептали мои губы, а взгляд мой потонул, как распалившаяся чайка, в глубокой синеве небес.

— Не стоит жить...

Ночь была дивная. Серебряные тени мягко дрожали над землей и над водой...

Луна подмигивала мне, как будто говоря: «Какой ты маленький, какой ты глупенький... Плывешь, как дурачок, на своей тоненькой скорлупке. А я вот захочу и покажу тебе такие ужасы, такие страшные и бледные от страха, внушаемого ими, привидения, что ты с ума сойдешь».

И я подмигивал ей тоже: «Врешь, не надуешь! Разве не знаешь, что ты имеешь дело с глубоким скептиком двадцатого столетия?»

Но в то же время я прекрасно чувствовал, что маленький злодейский страх коварно прицепился ко мне за пуговицу моего жилета своими цепкими крючками. Я постарался отвернуть взгляд свой от луны и посмотрел на берег.

На берегу стояла женщина, высокая и стройная, в глу-

боком трауре, с пером на шляпе. Это красивое перо капризно и настойчиво выглядывало из-под траурного крепа.

Я заработал веслами и на поверхности воды забегали волнистые полоски серебра. Я был тогда так молод... Мои волосы цвета пшеницы завивались крутыми и твердыми кольцами надо лбом без морщин.

И я понял тогда, — почему я поехал кататься по Рейну... Мое сердце, тревожное сердце, раскачиваясь, как бумажная марионетка, хотело — требовало для себя любви, чарующей и опьяняющей любви, которая звенит всеми мелодиями рая — при блеске звезд...

А женщина стояла, важная, задумчивая и высокая, меня изящной гибкостью своего стана.

Когда я к ней приблизился короткими и осторожными шажками, держа в руке свою широкополую студенческую шляпу, она спокойно подняла свою вуаль, — и я отпрянул в ужасе.

Это был желтый, тщательно наряженный скелет... Но перед дамами я никогда не кажусь трусом. Я равнодушно надел шляпу и равнодушно у нее спросил:

— Голубушка, давно ты умерла?

Она со скрипом засмеялась, как будто у нее вдруг лопнула какая-то струна в груди.

— Давно...

Она кокетливо склонила ко мне голову.

— Не хочешь ли со мной покататься?

Я всегда рыцарь с дамами.

— Пожалуйста...

Я был разочарован, и вся поэзия ночи поблекла, потускскнела и ушла. Луна казалась мне вареной горошиной, довольно крупной...

Из-под серебряной волны реки на меня глупо посмотрела рыба и снова спряталась, вильнув хвостом.

Моя спутница села, жеманно расправив свой трэн, на корме. А я сел на носу.

— Поэзии нет ни в сердце, ни в природе... Поэзия — ложь! — подумал я.

У моей спутницы опять как будто лопнула струна в груди.

— Послушай! — сказала она мне. — Хотя мы не созданы, чтобы любить друг друга... Но все ж мы можем быть друзьями.

Я посмотрел на нее тусклым взглядом, каким взглянула на меня недавно рыба; так смотрят на свою почтенную и уважаемую бабушку.

— Откуда ты?

— Я из Силезии.

— Ты была замужем?

— В дни моей юности я встретила одного стройного и молодого итальянца, с красивым прямым носом, который шел с шарманкой по улице. Я посмотрела на него, и я в него влюбилась. Когда ко мне являлись свахи, то я кричала:

«Не хочу... Я хочу замуж только за этого синьора с прямым носом...» Но оказалось, что у этого синьора была жена и шестеро детей. Так и не вышла замуж.

Луна расширилась: она как будто выросла в далеком темном небе, напоминая спелую большую репу.

— Я расскажу теперь тебе, — сказала моя спутница, — о двух подземных гномах. Моя могила, в которой я теперь живу, находится в Силезии, на горном кладбище. От природы я очень болтлива... И вот, когда я выпросила все секреты у всех моих соседей и соседок, мне стало очень скучно под землей. Скучать пришлось недолго: когда сгнил мой сосновый гроб, то под ним оказалась трещина, ведущая в подземное жилище гномов. Живут там два забавных гнома. Один — большой, большой... Его я никогда не видела. Когда он повернется там — дрожит земля. А голос у него глухой и грубый. Другой же гном величиной с воробья. Я его часто вижу: он поминутно бежит сквозь трещину. Он такой маленький, трясущийся всегда от страха... У него черный колпачок, величиной с орех, и круглая седая, всегда причесанная борода, как хоботок шмеля. Его обязанность состоит в том, что он, двоясь, троясь и разделяясь на бесконечное количество таких же гномов, присутствует при родах женщин. И когда женщина родит, то гном заботливо осмат-

ривает новорожденного ребенка. Если ему покажется, что этот маленький ребенок не будет выделяться ничем особенным среди других людей, — он оставляет его жить. А если же ребенок должен быть чем-нибудь большим, тогда малютка-гном втыкает ему тонкую булавочку в висок. Ребенок умирает, а маленький, согнувшийся, трясущийся от страха гном бежит, бежит... Когда ж случается ошибка, когда рождается и вырастает великий человек, тогда большой сердитый гном жестоко бьет малютку-гнома. Он встряхивает его так, как если бы тот был мешочком, наполненным игральными костями... Я вздрагиваю тогда вся от сострадания и забываю отгонять червей, которые меня грызут.

Я хотел что-то у нее спросить, но моя спутница уже исчезла.

Я посмотрел вокруг себя.

Светало. И бледным золотом мягко согрелся край тревожно дремлющего по утрам востока.

Я понял, что все мертвецы должны были теперь опять исчезнуть, чтоб догнивать под сводами земли.

Я снова вспомнил о портном и заплетающейся, пьяной походкой пошел по берегу проснувшегося Рейна, который сделался спокойным, мутным, скучным, — как сама жизнь.

И мне казалось, что я вижу глухую неустанную работу гнома — жизнь обесцветить и ослабить все сильное...

Мирэ

В БЕЗЛУННУЮ НОЧЬ

Это было в окрестностях Гавра.

Я заблудился. Ночь была темная, безлунная. И мне казалось, что она сдвинулась вокруг меня магическим кольцом и притаилась. Она была таинственной, холодной, — эта ночь.

Я шел вдоль берега. Скользили под ногами камешки с сухим, коротким стуком.

Море было так близко. Оно глухо дышало своим грозным холодным дыханием, как будто приближаясь, как будто отдаляясь в темноте, и вспенивалось белой пеной. Эта пена мелькала вокруг, как поднимающиеся из моря привидения — бессильные, готовые исчезнуть.

Я шел, растерянный, испуганный, не знающий, чему мне доверять, куда идти.

И иногда казалось мне, что темные ресницы ночи приподнимаются и взгляд ее на меня смотрит — немой, загадочный и не желающий мне ни добра, ни зла.

Под этим взглядом ночи я шел. Я шел, растерянный, испуганный, согнувшийся...

Холодный ветерок скользил по моему лицу, и целовал его, и шевелил концы моих волос с печальной лаской.

Я был так одинок. И я хотел огня, и света, и людей...

И я увидел, что вблизи меня горит какой-то огонек, которого я раньше не видал. Огонек был печальным и тусклым желтоватым пятном. Как будто свет от сальной свечки, скользящий через узкое окно.

Да... Это не обман был, и я наткнулся на ограду, полуразрушенную временем или же морем. Наткнулся на ограду из необтесанных камней.

Мои руки ударились с силой о влажное дерево низкой калитки. Где-то глухо завyla собака.

— Отворите! Спасите!

Я начал кричать, надрываясь, хрипя, приглядываясь к окружающему мраку. Собака стала выть еще тоскливее.

— Спасите!...

Что-то стукнуло возле меня, и через щель раскрывшейся калитки мелькнул передо мной веселый огонек решетчатого фонаря. При свете фонаря я разглядел лицо старухи

в белом чепчике, с большими черными глазами. Ее рука, державшая фонарь, слегка тряслась. Я разглядел морщины ее шеи около сдавленного подбородка. Во рту ее был виден один лишь зуб, — такой желтый, как тусклый янтарь.

— Спасите... Позвольте к вам войти, согреться до утра.

— Войдите...

Старуха растворила свою калитку, впустила меня в темный двор, задвинула засов и закричала на собаку:

— Гектор... Молчи! Молчи!

Гектор лаял, стихая, с каким-то жалобным, унылым визгом.

Я был обрадован: передо мной — жилье, я буду спать под кровлей. Немая, неразгаданная ночь осталась позади и сторожит теперь бушующее, темное, с белеющей пеной море.

Старуха молча растворила дверь и стала тихо подниматься по узкой лестнице, стараясь освещать мне фонарем своим дорогу. Ступеньки были старые, истертые ногами, из бурой черепицы. Старуха шла и колыхала своей юбкой из черной саржи, заштопанной, поношенной...

В галерее со сводами стекла узких окон были разбиты кое-где, и щели их заткнуты тряпками. Над головой спускалась паутина, седая и мохнатая, как ветхие лохмотья. Запах сырости, гнили...

Мы вошли в коридор.

Одна дверь была крепко закрыта и заперта тремя замками. Эти замки висели неподвижно, как стиснутые, угрожающие кулаки.

— Я затоплю камин, — сказала мне старуха. — Я приготовлю вам яичницу с поджаренной ветчиной и дам вина.

Она отрывисто откашлялась.

— Здесь жил нотариус в отставке, и от него осталось несколько бутылок хорошего вина. Ведь я не пью вина. И я не хожу в церковь.

— Почему?

Она устало передернула плечами.

— Я не хочу. Я ни во что не верю. Я сторожу здесь этот дом... — она пугливо оглянулась, — и его прошлое.

Я вздрогнул. И мне почудилось, что влажное, тяжелое крыло летучей мыши коснулось моего лица.

— Сюда никто не ходит, — сказала мне старуха. — Но если вы уже пришли — войдите.

Она раскрыла одну дверь.

— Это — столовая моего барина. Теперь его нет в доме. Ушел, исчез... Мне кажется, он вылетел отсюда черным вороном с распластанными крыльями и с хриплым стоном. Мне кажется, что я когда-то слышала и теперь помню этот стон.

Она опять устало передернула плечами, и мы вошли в столовую.

Это была большая комната с коричневыми голыми стенами. Потертый пол из бурой черепицы был возле очага обложен кирпичом. Над очагом висело чье-то белое лицо из гипса с брезгливым выражением тонких губ. Среди столовой стояли стол и кожаные кресла, а на столе — подсвечники из темной бронзы.

— Это подсвечники моего барина. Он зажигал всегда по вечерам несколько свеч и долго-долго сидел в старинном кресле возле очага. Мне так хотелось знать, о чем он думает. Он сидел в своем кресле, задумавшись, нахохлившись, словно недобрая ночная птица. Но он всегда молчал. И я молчала. Мы жили молча. По вечерам, когда шумело море, он часто вздрагивал и говорил: «Как бы не забрались к нам воры... Как бы они не обокрали нас...» Я думала, что он богат.

Я снял свой плащ и сел возле стола. Старуха зажигала свечи.

— Мне кажется теперь, что барин тут, — сказала она тихо. — Но вы так молоды, вы так красивы; мне кажется, что я угадываю все, о чем вы думаете. Нет у вас тайн. Все ваши мысли чисты и спокойны.

Печальный зуб торчал из ее рта, подобный тусклому кусочку янтаря.

— Вы молоды. Я не видала молодых давно. А я сама, мне кажется, всегда была старухой. Не помню времени, когда моя иссохшая, морщинистая грудь была красивой и молодой, и когда жили в моем сердце все чувства юности. А

теперь мое сердце — стариковское, темное сердце.

Старуха скрылась. Она явилась скоро снова со связками сухого можжевельника и начала, согнувшись, зажигать его.

В очаге загорелся огонь, полетели блестящие искры, по потолку забегали дрожащие уродливые тени. В столовой стало веселей, теплей.

Старуха снова скрылась. Потом она пришла и принесла с собой сковородку и разные припасы. Она поставила передо мной бутылку темного вина и маленький стакан.

— Мой барин пил из этого стакана. Я приготовлю вам яичницу. Потом я постелю для вас постель. Сама я буду рядом, в маленьком чулане. Направо — спальня барина, которую я заперла тремя замками. Никто не ходит в этот дом. Я тут живу одна. Но если вы пришли, то будьте гостем. Вы молоды и мысли ваши чисты.

Я все молчал, молчал... Мои губы как будто склеились и не хотели говорить. Яичница шипела около меня, и я стал с жадностью съедать большие жирные куски, с трудом нарезаая ломтики темно-коричневого, твердого, как камень, хлеба. Вино было холодное, густое.

Старуха посмотрела на меня и тихо вышла.

Море глухо шумело под окнами, и мне невольно стало чудиться, что лезут воры.

Я был так утомлен, но, когда я улегся на широком диване, кисти которого спадали вниз, касаясь пола, и закрылся плащом, — сон ушел от меня.

— Предательский сон! — подумал я. — Зачем ты убежал от моих глаз, покинув меня тут, беспомощного, одинокого, в этом ужасном доме, ночью...

Очаг потух. Свечи горели желтоватыми, дрожащими, испуганными огоньками.

Меня не радовала кровля, меня не радовало тихое жилье, меня не радовала теплота. Какая-то тоска сдавила мою грудь. В моей груди тревожно билось сердце. Было тихо вокруг.

Какой-то шорох за стеной направо... Как будто шорох туфлей... «Должно быть, это старые фланелевые туфли с узорами из бисера...» — подумал я.

Шорох усиливался, приближался...

Ко мне неслышно, незаметно подкрадывался ужас, танцуя и кривляясь на своих тоненьких уродливых ногах. Лицо мое стало бледнеть, глаза мои остановились. И мне казалось, что у меня были живыми только уши. Все чувства умерли, и только уши слышали.

Тихий шорох все рос за стеной. Казалось, кто-то подошел к стене и медленно начал отодвигать и вдвигать ящики комода. Тук! Тук! Шш...

Безжалостно, однообразно стучали ящики комода, вдвигаясь, выдвигаясь. Тук! Тук! Тук!..

Я холодел. Сознание уходило от меня, отодвигаясь вместе с жизнью, и с огоньками догорающих, оплывших свечек, — в бездну...

Старуха... Она стояла на пороге, в одной рубашке, с желтыми костлявыми плечами. Она тряслась.

Мне стало легче. Я сел на диван.

— Он... Он... — шептала мне старуха. — Мой барин... Каждую ночь! Каждую ночь! Мой грех велик, но я страдаю больше, чем того стоит этот грех.

Ее зуб задрожал между синих трясущихся губ. А глаза ее были, как черные ямы.

— Он требует, он хочет, чтоб я пошла в полицию...

— В полицию?

— В полицию... Ведь я его убила. Я думала, у него денег много. Я хотела быть тоже богатой...

Она приблизилась ко мне, желтея в полумраке своими страшными плечами. Ее рубашка колыхалась, обтягивая ее длинное, худое тело.

— У нее тела нет, — подумал я, — у нее кости.

Дыхание захватило у меня. Я стиснул кулаки, готовясь растерзать, если она ко мне приблизится. Она все приближалась. Я готов был от страха убить ее тут же.

А за стеной монотонно и настойчиво стучали ящики комода. Тук! Тук!

— Слышишь? Убила его вечером. Он сидел тут. Я бросилась к нему, скрутила крепкой веревкой его руки. У него маленькие были руки, как у ребенка. И слабые, как у ре-

бенка. Он стал кричать, раскрыв широко рот. А я душила его проволокой. И я втыкала ему гвозди всюду — в виски и в грудь... Тупые, ржавые, погнувшиеся гвозди... Когда он умер, то я стащила его в спальню за ноги и заперла. Он гнил... По дому разносился тяжелый запах. А денег не было.

Она приблизилась ко мне, и черные глаза ее глядели на меня.

— Ты из полиции?

Ее худые руки внезапно вытянулись и схватили мое горло.

— Ты из полиции? Я... Я сама туда пойду. А может быть, и не пойду. Мой грех... И я сама им мучаюсь. И никто больше. Только я... Ты из полиции?

— Нет! Нет!

Я с отвращением схватил ее худые плечи и отбросил ее в сторону. И без плаща, без фонаря я побежал по коридору, по лестнице, перескочил через ограду.

Меня опять схватила и обняла своим объятием безлунная, немая ночь. И я был рад ей. Я крепко прижимал ее к моей груди и я кричал... Кричал, себя не помня, громко: «От людей, от людей, уходи от людей!..»

Море, бушующая, посылало мне ряды своих бессильных, исчезающих, холодных привидений.

И я бежал, бежал...

Мирэ

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

В одно прекрасное утро Альфред Д***, утонченный художник, случайно зашел в зверинец и, между прочим, долго стоял перед клеткой недавно привезенной великолепной черной пантеры.

Пробило полночь. Альфред Д*** вернулся домой из кафе, где он просидел целый вечер. Не понимая современности, он инстинктивно сторонился людей, с которыми ему приходилось сталкиваться, и удивленно вслушивался в их слова, не имея сил оторваться от своих грез. В кафе он, впрочем, чувствовал себя легче, чем где бы то ни было в другом месте среди людей. Черные силуэты мужчин и пестрые, изысканные, как, махровые цветы, силуэты женщин, скользящие, исчезающие в мяском, золотистом свете, казались ему волшебными призраками, незнакомыми с грубой ничтожностью повседневности, влюбленными в Красоту, в великий ритм Света, прекрасными детьми вселенной, опьяненными жизнью, как мотыльки блеском солнца. Он довольствовался созерцанием. Он не любил разочарований; ему нравились только абсолютные ценности, хотя бы они были миражом.

Войдя в спальню, Альфред Д*** разделся и лег в постель. В его спальне господствовали лиловатые тона, побледневшие от скрытой в них страстности, немножко тусклые, блеклые, гармонирующие с тихим, неслышным полетом Мечты. Отблеск зажженных свечей — у него никогда не горели лампы — отражался прозрачным, слабым сияньем на хрустале флаконов. Вдруг Альфред Д*** совершенно неожиданно вспомнил о черной пантере.

В ту же минуту у него сжалось сердце.

Медленно распахнулись лиловатые драпировки двери. На пороге появилась черная пантера.

Альфред Д*** вскрикнул. Но не могло быть никаких сомнений: это была та самая черная пантера, которую он утром видел в зверинце. Она остановилась на пороге, как бы

выжидая, с серьезным видом, с напряженно горящим взглядом, изогнутая и хищная. Потом она сделала шаг, на минуту о чем-то задумалась, как мечтающая кошка, и медленно стала приближаться к постели.

Альфред Д*** закрыл глаза рукой. Он дрожал всем телом и шептал умоляющим голосом:

— Уйди... уйди...

У него опять сильно сжалось сердце. Подчиняясь чьему-то безмолвному приказанию, он отнял руку от глаз.

Черной пантеры в комнате не было.

Возле его постели стояла женщина.

Это было не так страшно. Он стал ее рассматривать. Она стояла в легкой, серебристой, слегка шелестящей одежде. Тонкие, сверкающие излучения струились вокруг нее в воздухе. Ее тело было белизны алебаstra. Черные волосы тревожащими кудрями спускались с головы. Губы ее были сомкнуты, лицо — недвижно и бесстрастно. И тут он увидел, что *у нее были глаза черной пантеры*. Кровь застыла в его жилах. Сердце почти перестало биться. Женщина властно протянула руку, губы ее разомкнулись. Он совсем терял сознание. Напрягая последние усилия, он прошептал:

— Заклинаю тебя: уйди.

Она презрительно улыbnулась. Голова ее слегка откинулась, словно ее оттягивали назад тяжелые волосы. Рука ее опустилась. Альфред Д*** закрыл глаза. Когда он открыл их, женщины не было возле него, но ему показалось, что за драпировками мелькнула черная пантера.

На другой день, когда время близилось к полночи, Альфред Д*** свернул свои рукописи, связал их красным шнурком, взял желтую кризантему и, любуясь изяществом ее лепестков, глубоко задумался. Придет или не придет Она? Он не мог сказать себе, хочет или не хочет он ее видеть, внушает она ему ужас или странное, жгучее любопытство. Он бросил кризантему, разделся и лег в постель. Виски его болели. Голова немножко кружилась. Легкая усталость охватила тело. Он не мог больше думать о черной пантере. Наслаждаясь и нежа свою утомленную мысль, он стал рисовать себе упоительные картины Востока. Благодаря привычно-

му усилию воли, он вскоре мог представлять себе эти картины с поразительной реальностью. Вместо потолка, разри-
сованного азиями, вверху затемнелось глубокое небо в
серебряной лунной вуали. Ему казалось, что он слышит ти-
хий плеск металлически-светлых, слегка позолоченных вод
среди густых камышей. Резкая мелодия, наводящая ужас,
заставляющая содрогаться и предчувствовать чудо, неслась
откуда-то издалека. Белые фигуры медленно склонялись
около воды. Каждое движение выдавало их благоговение к
святости совершаемого обряда. Кто-то тихо напевал вечный
гимн Любви. В ясной прозрачности лунной вуали засвети-
лись алмазные горы. В воздухе разлились острые сладост-
ные благоухания, подобные ароматным каплям росы на ле-
пестках багряных цветов. Потом внезапно мелькнули перед
ним лиловатые драпировки и хищный, насторожившийся
силуэт черной пантеры.

Альфред Д*** очнулся: перед ним стояла вчерашняя
женщина.

Она стояла нахмуренная и печальная. Она, казалось,
хотела заговорить: губы ее раскрывались, но она молчала.
Красный шарф обвивал ее тело. Глаза ее жутко мерцали, —
ее глаза черной пантеры. Глубокая скорбь омертвила ее ли-
цо. Альфреду Д*** не было больше страшно, он испытывал
к ней жалость и любовь. Он смутно стал понимать, что их
связывало нечто вечное, как мир.

Она вдруг обрадовалась, словно почувствовав благо-
приятный для нее ход его мыслей, и подошла ближе.

Он сказал тихо, с непреодолимо нежной интонацией, с
какой влюбленный мужчина обращается к женщине в го-
ре:

— Чего ты хочешь? Заговори, если ты можешь....

Она просияла и улыбнулась. Она стала подобна всем
земным женщинам, которых даже в великом горе радуют
нежные безделицы. Ее тело порозовело. Груды упруго ко-
лыхнулись. Красный шарф скользнул на пол. Она качну-
лась, как лиана, ласкаемая ветерком, и сказала, блестя гла-
зами, звенящим голосом, похожим на страстное пение вио-
лы:

— Я тебя люблю. Я тебя любила всегда.

Она наклонилась к нему, торжествующая, и сказала:

— Всегда! Всегда! Всегда!

Альфред Д*** содрогнулся. Ему почудилось, что он слышит железный крик пламенных сфер, вращающихся в Вечности. Ему показалось, что он понимает великий закон, первооснову мира. Воздух потрясся от пролетавших невидимых Сил. Губы женщины стали коралловыми. Тонкие золотые звездочки с бриллиантовыми лучами вспыхнули на ее волосах. Она глядела на него, неотразимая и непонятная, как сама вселенная, как темная глубь вселенной. Проходили мгновения созерцания, трепета и любви...

Женщина подошла ближе. Она сбросила тунику и стояла, ослепительная в своей наготы. Ее глаза жгли. Уста пламенили. Она протянула руки. Стан ее изогнулся. Она сияла, строгая, неумолимая, в величии своей Любви. Она была, как дух, рожденный в мраке бездн и сверкающем вечном Свете. Она несла в себе свое добро и зло. Ее «да» было «да».

Вдруг она сделала прыжок пантеры. Ее губы раскрылись в ужасной улыбке. В глазах заблистала жестокость. Она остановилась перед ним, как воплощение первобытной божественной страсти, подобной буре.

Альфред Д*** простер руки, пытаясь оттолкнуть ее, и с его губ сорвался жалкий стон:

— Уйди! Уйди! Я не могу... Я боюсь... Боюсь... Боюсь...

Женщина отшатнулась с гневным жестом. Потом она презрительно засмеялась и, бледная, швырнула ему в лицо свой красный шарф.

За драпировками мелькнула рассерженная черная пантера. Все исчезло. В спальне стало тихо, как в могиле.

Весь вечер следующего дня Альфред Д*** думал о Ней.

Без Нее жизнь казалась ему бредом, как обманувшая надежда. Жизнь? Сочетания красок, ритм слов, поэзия, создаваемая мечтой, с жалобным вздохом опадающие золотые осенние листья, утомленные ожидания... Разве это не Она вливала кровь в мертвое слово «жизнь»? Разве это не Она заставляла горячие лучи солнца волновать сердце счастьем? Она — первая звезда, последний луч, ужас без исцеления,

радость без границ, без конца, без начала. Она — на пороге между тем, чем мы были, и тем, чем мы будем. Она — сердце мира, Любовь.

Он зажег свечи в спальне. Задернул занавеси окон. Сел в кресло и, держа в дрожащих руках маленькую мраморную Афродиту с гиацинтовыми глазами, застыл в ожидании возлюбленной. Он теперь ее не боялся. Он ее ждал. Он надеялся слиться с нею в любви без разлук.

Часы пробили полночь. Ее не было.

Час ночи...

Иногда Она обманывает? Драпировки двери оставались недвижимыми, не шевелились.

Альфред Д***, пораженный отчаяньем, встал с кресла, подошел, шатаясь, к постели, разделся и лег, с ужасом думая, что самое драгоценное в его душе, вероятно, умерло.

Может быть, ему снилось... Ему казалось, что он лежал в розовом саркофаге, превратившийся в мумию, с бесстрастной улыбкой, со сложенными руками. Его везли в раззолоченной галере по течению широкой реки, у которой, должно быть, не было берегов. Волны звучали, как музыка цимбал. Вверху, в небе, истомленном, бледно-смарагдового цвета, белые птицы сливались с белыми облаками в священной пляске. Огромная луна в тоске ждала возлюбленного, заранее зная, что он не придет. Странные, темные слова приносил с собой ветер из далеких пустынь, с горных вершин, с нездешних небес. Откуда? Куда? Он увидел перед собой женщин в ярких одеждах, с гибкими телами, с зовущими улыбками, с воркующими словами. Но он не хотел их. Он знал, что сердца их трусливы, малодушны и таят в себе жалкую, кратковременную любовь, исчезающую, как дым, подобную обманчивому туману. Они пели, плясали, бросали цветы, фантастические в сапфировом блеске. Они ломали руки, отягченные браслетами, и проливали крупные, светящиеся слезы. Они кидались к его ногам с влюбленным стоном. Но его сердце оставалось равнодушным.

Звезды умеют говорить? Разве это не они сказали: «мир — Любовь»?

И тогда растянули пурпур, выцветший, лиловатый, на-

подобие шатра. Черная пантера появилась из-за драпировок. И Она — вечная, единственная, желанная — приблизилась к нему с красным цветком в руке.

— Ты могла бы запоздать на целое столетие, я бы ждал тебя, — подумал он. — Я бы ждал тебя, если бы ты даже *никогда не пришла*. Любовь — слово, соединяющее жизнь со смертью. Я тебя люблю!

На этот раз она пришла, как могущественная королева. Туника ее была золотая. Мириады бриллиантовых звезд реяли и рассыпались в воздухе радужными огнями. В ее руке красный цветок сверкал, как солнце, сорванное ею с неба, чтоб завладеть им, избранником. Ее черные волосы сплетались с тысячью жемчужных нитей и рубиновых молний. Ее каждое движение было огнем, желанием, мольбой влюбленной. Она могла любить, потому что умела страдать и повелевать. Она была единственной, потому что другой не существовало. У нее были глаза зверя, пламенеющие, сожигающие, желающие взять в одно мгновение целый круг жизней. Ее уста таили в себе смерть, как кубок с ядом. Ее сердце скрывало в себе неумирающую жизнь.

Она бросила красный цветок к его ногам и сказала, как невольница, истерзанная бичами:

— Я тебя люблю!

Он знал, что это правда, но прошептал с улыбкой:

— Повтори еще.

Тысячи молний взвились вокруг нее голубыми огнями. Ее волосы взметнулись по плечам, как змеи. Бешеным жестом она сбросила золотую тунику. Ее губы стали багряными и увлажнились кровью. Она сказала опять:

— Я тебя люблю!

В звуке ее голоса ему почудился железный крик пламенных сфер, вращающихся в Вечности. Он понял тайну Ужаса и Любви. Он протянул к ней руки и сказал голосом отдающего *навсегда*:

— Жизнь без разлук...

Она медленно наклонилась к нему, трепеща всем телом. Он обнял ее. И в момент Наслаждения, превосходящего всякую радость мира, как солнце превосходит своим блес-

ком светляков, он почувствовал, что в его сердце вонзились хищные смертоносные когти.

На другое утро Альфреда Д*** нашли мертвым в постели. В то же утро сторожа городского зверинца, обходя клетки, увидели недавно привезенную великолепную черную пантеру без признаков жизни.

Мирэ

ПРОПОВЕДНИК СМЕРТИ

Наконец-то он пришел в наш город, населенный веселыми жителями и расположенный на берегу моря, днем лазурного, ночью серебряного, — этот ужасный проповедник смерти. Кровь стыла в наших жилах, когда мы слышали: «Он тут!.. он там!..» Убеленные сединами старцы опускали головы и плакали, как маленькие дети. А дети не давали матерям своим покоя, терзая их уши криком. Возлюбленные целовались украдкой. Горечью были напоены их поцелуи. Солнце казалось нам маленьким и не светлым, а Сотворивший вселенную — неумелым метателем диска, не заслуживающим лавров. Как бы мы ни хотели жить, мы знали, что он придет, — проповедник смерти!

Вот мы его увидели!

Удивлению нашему не было границ. Это был человек обыкновенного роста, стройного телосложения, одетый в белую льняную тунику, имевший привычку горбиться и, наклонив голову, смотреть исподлобья. Так вот он — торжествующий над желанием каждого существа продлить свою жизнь! Право, в нем нет ничего страшного. Дети наши увидят своих внуков. Да! Да! Но мы тогда не знали неотразимой силы его логики, молний его красноречия, мы не слышали его голоса. Мы, бедные слепые дети радости!

День был жаркий. Мы поминутно утоляли жажду. И толпа все прибывала...

Скоро на набережной негде было упасть яблоку. Многие устремились на корабли. И смотрели оттуда. Даже мачты были унижены людьми в развевающихся праздничных одеждах. Одна бесстыдница, воспользовавшись случаем, сняла с себя одежду и стояла голая. Тело ее было, как виноградина, как золотистая созревшая виноградина, приятная на вкус.

Как и в других, местах, он развел огромный костер и указал на него толпе. А когда заговорил, мы поняли, что солнце скоро навеки потухнет для нас и уста наши перестанут дышать. Его наука ненависти была поистине сильнее нашей науки любви.

Уныние овладело нами, как неслыханная чудовищная зараза. Вихрь неутолимого отчаяния пронесся над нашими душами.

Первой бросилась в огонь прекрасная танцовщица, бывшая нашей отрадой. Первая жертва его пагубного проклятого колдовства. Разве тело твоё создано не для любви, соблазнительница?

Как стадо обезумевших баранов, многие-многие люди ринулись в огонь.

— Зачем нам думать о совершенстве слова? Не умирает ли бесследно каждый звук, едва успев родиться! А мы считали себя мудрыми! — так рассуждали утонченнейшие из наших риториков.

— Что такое счастье? — шептали побледневшими губами девушки. Их нежные груди дрожали, как вспугнутые голубки. — Разве есть на земле счастье? Вот мы должны теперь умирать. А ведь мы ещё ни одной ночи не провели с теми, кого любим.

— Какая смешная вещь — жажда власти у рабов тления! — говорили сановники.

— Всю жизнь нести бремя скорби? Разве мы ослы? Разве смерть — не величайшее счастье? — роптали невольники.

Люди переговаривались, толкались. Многие плакали, ломали руки, рвали на себе волосы. Многие в иступлении предавались судорожным ласкам на глазах у всех.

Расталкивая поредевшую толпу, к костру подбежали, запыхавшись, в запыленных, смятых одеждах, с разметавшимися волосами, с истомленными негой лицами, семь женщин из лупанария.

Да! Да! Они тоже хотят смерти! Разве они хуже других?

Заткните себе глотки, бесстыдные лжецы! Разве не спали с ними самые знатные и самые прекрасные из граждан?

Шесть женщин не замедлили прыгнуть в костер, но седьмая остановилась.

Это была совсем молоденькая девушка, недавно поступившая в лупанарий. Волосы ее напоминали золотую паутину. Руки и плечи поражали своей изящной красотой. Может быть, она была дочерью Солнца, светлая и невинная продавщица поцелуев!

Остановившись в нерешительности, она сказала так громко, что все ее услышали:

— Разве не могу я умереть завтра? Я очень хочу жить!
Все стоявшие вблизи нее оторопели.

Тогда двое юношей с темными, загорелыми затылками и знойными глазами повторили громким голосом:

— Разве мы не можем умереть завтра?

— Разве мы не можем умереть завтра? — повторил бледный философ с тяжелыми веками и напряженно сдвинутыми бровями.

Толпа разом зашевелилась. Кипучая волна жизни охватила ее. И все пришли в неописуемое смятение. Сзади на нас еще напирали хотевшие смерти, но мы, стоявшие к ко-стру ближе, вернулись к жизни.

— Не лучше ли остаться жить? — закричали мы изо всех сил, напрягая шейные мускулы, и, подняв руки, хлопали в ладоши.

Смеясь и ликуя, как веселые юноши, собравшиеся для гимнастических упражнений, прогнали мы проповедника смерти.

Сладостно зазвучали поцелуи. Разливалась пламенная радость. И никогда мы так не любили нашу маленькую, жалкую, кратковременную жизнь, как в этот незабвенный день.

Мирэ

РАМБЕЛЛИНО

В газетах появилось странное объявление:

«Чудо! Изобретен автоматический человек. Его зовут Рамбеллино. Он может ходить и в совершенстве воспроизводить все человеческие жесты. Но самое поразительное: он *дает концерты!* Техника его изумительна. В игре его чувствуется вдохновение великого артиста. Надеемся, что всякие комментарии излишни. Идите и удивляйтесь! Вы, наверное, не замедлите прийти к убеждению, что Жизнь *слишком* сложна и загадочна. С почтением, изобретатель автоматического человека, американец Д*. У*. В*.» Затем следовал адрес.

Маленькая графиня вздрогнула, прочитав объявление.

— Как это интересно! — сказала она.

Она задумчиво посмотрела на малиновую портьеру, очевидно, о чем-то соображая, что-то взвешивая, принимая какое-то решение. Потом она поставила чашку с недопитым шоколадом на стол, прищурила глаза, поправила каштановые букли и равнодушно сказала мужу:

— Надеюсь, ты возьмешь мне билет. Мое любопытство сильно затронуто.

За окнами, выходящими в сад, первые осенние листья кружились в воздухе, подобно золотым печальным птицам.

— Осень, напоминание о смерти, — подумала маленькая графиня. — Если я иногда не понимаю, зачем смерть, раз ничего еще не сделано, то чаще я не понимаю, зачем жизнь, раз нечего делать... Когда наши души находятся под гипнозом Красоты, это хорошо; но если их гипнотизирует мелкое, пошлое, грязное зло...

Она подошла к окну, посмотрела на поредевшую листву, сквозь которую местами — направо от окна — уже виднелись уродливые пятна высокой каменной ограды. Сад обнажался. Мокрые, усыпанные желтым песком дорожки уходили в серебристо-лиловой грусти сумерек в неизвестную даль. Не к замку ли верного рыцаря? Маленькая графиня резко засмеялась безжизненным, холодным смехом. Ее любимая собачка насторожила уши.

Дело было в том, что маленькая графиня никак не могла примириться с действительностью. Ее безумно тянуло к

средним векам, к эпохе турниров, крестовых походов, удивительных замков, удивительных приключений, к мрачному, невыразимо гордому величию угасших человеческих страстей... Притом ее мало заботила отдаленность этой эпохи; ей не приходилось останавливаться на мысли, что ее склонность могла показаться чем-то искусственным, насильственно привитым. Она думала — безусловно признавая законность любви к современности, — что История — не что иное, как воплощение в строго определенных формах бессмертных идей, в свою очередь, являющихся ничтожной каплей в бездонном море Вечности, — и что эти идеи, во *всей* их совокупности, могут быть близки всякому, принадлежащему к человеческой семье.

— Если бы любовь... настоящая... Любовь как прообраз, как символ...

Она вздохнула. Отошла от окна, шурша сиренево-розовым шелком, полюбовалась альбомом изысканно-нежных гравюр и исчезла за портьерой, как тоскующее, странное видение.

В ее комнате была мебель с перламутровыми инкрустациями, зеленые ткани, забавные фигурки из слоновой кости, широкие листья оранжерейных растений. Она сняла платье; на минуту остановилась перед зеркалом с обнаженными руками. Эти руки были тонки и невинны. Нежные плечи казались плечами девочки. В немного резких, прямых линиях рта таилось странное нетерпение, ожидание трагедии. Большие глаза были преступными и чистыми одновременно. Это были глаза существа, способного на Любовь и не боящегося смерти, если Любовь захочет скрыться под маской смерти. В ее существе уживались кроткая нежность полевого голубого цветка и откровенная жестокость туберозы. Разве это не она стояла у окна круглой башни в трепетном ожидании юного жениха? Разве это не она бросила перчатку на арену, наполненную зверями, желая, чтоб ее возлюбленный поднял перчатку? Она обещала любовь, но могла поднести, как дар, смерть.

Маленькая графиня надела амазонку и шляпу, взяла хлыстик и вышла через боковую дверь на небольшой внут-

ренный двор.

Когда она, ловко держась на лошади, очутилась за городом, ее окружили голубые утасаживающие горизонты, жемчужная вуаль еще теплого вечера окутала ее, темные очертания молодых перелесков поджидали ее, как насторожившаяся толпа людей и зверей. После часа бешеной езды она увидела еле уловимый, словно намеченный серебряным мазком волшебной кисти полумесяц. Она подобрала поводья и громко сказала дрогнувшим голосом, прозвучавшим в прозрачном воздухе, как торжественная клятва: «Если любовь, то — навеки...»

После концерта никто не мог дать себе отчета в том, что такое был этот таинственный пианист: человек или автомат... Все были страшно взволнованы и заинтригованы. Дыхание вечного Загадочного коснулось душ всех присутствовавших. Маленькая графиня, подойдя к эстраде, бросила к ногам феноменального пианиста очень красную, почти кровавую розу. Их взгляды встретились. У него были необыкновенные черные глаза. Содрогнувшись всем телом, она инстинктивно поняла, что «да... да... да...» Этот человек — или автомат — обещал ей не банальную историю, но поэму вечной любви. Насильственно улыбнувшись, она отошла, побледневшая, играя веером.

Маленькая графиня подошла к большому, высокому дому, ничем не отличавшемуся от других домов. Это было грубое, убогое произведение современной архитектуры. Она остановилась у подъезда, охваченная сомнением: неужели он живет в этом доме? Рука ее — без перчатки, похожая на белый странный цветок — все же прикоснулась к звонку. Ей отворил чопорный американский слуга.

— Кого вам угодно? — спросил он.

Она ответила:

— Рамбеллино.

Он спросил опять:

— Как прикажете доложить?

Она гордо выпрямилась и сказала, с слегка удивленной улыбкой:

— Я — возлюбленная Рамбеллино.

Бритое лицо лакея скорчило гнусную гримасу:

— Господин Рамбеллино — автомат, изделие моего ба-
рина. Впрочем, я — только слуга...

Он распахнул перед ней дверь.

Маленькая графиня, приподняв вуаль, пошла за ним. Где она? Ее путь лежал по бесконечным залам необычайных размеров. Высокие потолки исчезали во мраке. Она видела только голые, мрачные, строгие стены. Кое-где на стенах висело древнее оружие. В одной зале топился камин: черные тени, с высунутыми языками и когтистыми крыльями, прыгали по стенам. Красное пламя, с вкрапленным в него золотом, казалось выходящим из чудовищного жерла. За одной дверью слышались тяжелые шаги закованных в железо людей. Маленькая графиня дрожала, но продолжала мужественно следовать за лакеем. «Путь к Любви идет не по тропинкам, украшенным розами, но по хрупким мостам над безднами, — подумала она. — Я теперь это знаю. И я... не боюсь».

Вдруг лакей с особой торжественностью растворил дверь.

Маленькая графиня вскрикнула. Комнату затопляли голубые лучи. На пороге стоял Рамбеллино. Лицо его было — как и во время концерта — бледно и неподвижно. Черные глаза сияли ослепительным блеском.

Когда лакей исчез, маленькая графиня сказала:

— Мой возлюбленный! Я пришла...

Он ничего не ответил, но она поняла, что он подумал:

— Я тебя ждал!

Потянулась вереница удивительных дней. Маленькая графиня, наконец, близко соприкоснулась со Счастьем — чудесной звездой, золотым неуловимым мотыльком... О,

теперь этот мотылек трепетал своими волшебными крыльями в ее очарованном сердце. Она стала жить двойной жизнью: скучной и ненужной — среди людей, сверкающей, как молнии — в объятьях Рамбеллино. Она поняла теперь, что внешняя «материальная» жизнь вещей и людей отделяется от их истинной бессмертной жизни тонкой хрустальной дверью, которую нужно *уметь* отворить.

Рамбеллино никогда не говорил, но она все же понимала его мысли. Они струились изумительными световыми токами. Они переливались в ее благодарном, потрясенном любовью сердце, как огни бриллиантов, как яркая кровь рубинов, как прелестный жуткий соблазн изумрудов. Иногда же его мысли передавались ей, подобно опьяняющей волшебной музыке. Она наслаждалась симфониями мыслей. Это было прекрасней слов. Она, не помня себя, бросалась в его объятия и понимала, что мучительная и чарующая пытка страсти — когда тело касается вечных завес бессмертия — *нездешнего* происхождения.

Их любовь была восхитительной розовой жемчужиной.

Однажды, сидя в своей комнате, с сердцем, полным любовью, маленькая графиня увидела, что на опалово-серой драпировке окна качалась тусклая тень. Это был, понятно, пустяк, обман зрения, но все же глядеть на нее было невыразимо тягостно.

В ту же минуту маленькой графине пришла в голову грубая, жесткая мысль. Почему Рамбеллино никогда не говорит? В эту минуту она забыла, что знала все его мысли. Почему он никогда не говорит? Он ее не любит? Он — жалкий автомат, подражающий «человеческим» жестам! Она заплакала от ужаса и боли, она больше ему не верила, она ломала руки, металась по комнате, крича диким, пронзительным криком. Перед ее окном медленно и зловеще пролетела большая летучая мышь. Совсем оголившиеся деревья жалобно и тревожно качнулись. Ветер скользнул над крышей и свистнул в трубу. Кто-то печально засмеялся... — оборвалась струна лютни, висевшей на белой ленте?..

— Нужно, чтоб он меня ревновал, — прошептала маленькая графиня помертвевшими губами.

Она пошла к мужу и сказала ему:

— Я хочу, чтоб Рамбеллино играл у нас: это будет забавно! — Она засмеялась чужим, странным смехом.

Ее муж повел стеклянными глазами и на другой же день исполнил ее желание.

Дом сверкал огнями. Когда Рамбеллино, кончив играть, проходил мимо одной ниши, — притаившаяся там маленькая графиня, поджидавшая его, разговаривая с очень скучным юношей, быстро упала в объятия этого юноши. Рамбеллино, ничего не сказав, прошел мимо.

На другой день маленькая графиня стояла возле двери комнаты Рамбеллино, дрожа и плача. Он был не один в комнате. Американец Д.* У.* В.*, с растрепавшейся шевелюрой, с красным от гнева лицом, потрясал кулаками.

— Это невероятно! — кричал бесстрашный изобретатель. — Я вас выдумал и сделал. Вы — автомат, движущаяся машина. Я ведь не мог одарить вас «волей». Вы не смее-те покидать меня. Я получил на вас патент! Я привлеку вас к судебной ответственности!

Рамбеллино, не обращая на него никакого внимания и оставляя его в полном отчаянии, подошел к двери и, увидев маленькую графиню, сказал ей — сказал удивительно чистым, мелодичным голосом:

— Отчего у тебя нет веры?.. Моя жизнь на земле теперь кончена.

Он исчез.

Маленькая графиня, шатаясь, прошла по залам и, очутившись на улице, с душой, терзаемой невыразимым страданием, подумала, что и ее жизнь на земле тоже кончена.

И в ту же минуту она стала смутно и радостно на что-то надеяться...

Американец Д.* У.* В.* поместил в газетах новое объявление. Вот несколько слов из него:

«...Мой автомат, изготовленный моими человеческими руками, исчез. Он меня разорил! Обращаюсь к властям! Но все же случившееся со мной превышает мое понимание. Это из области сверхъестественного. “Воля” развилась у него самостоятельно, без моего участия».

Он добавлял, не без меланхолии:

«Должно быть, “воля” — самозарождающийся микроб...
Или... Я отказываюсь от дальнейших предположений. Я сейчас болен... У меня расстроены нервы...»

Константин Льдов

РЕТРОСКОП

Стихотворение в прозе

Подробности изумительного открытия Эдисона еще не оглашены. Мы не знаем изысканий, которые были произведены американским изобретателем в его мастерской при Филадельфийской обсерватории. Перед нами лишь итог его творческих усилий.

Эдисону удалось перехватить луч одной из отдаленнейших звезд Млечного пути. Перехваченный эдисоновским ретроскопом луч сохраняет свою первоначальную, баснословную скорость. Звездный гость, по закону обратного тяготения, может быть возвращен на его небесную родину. Подчиняясь своей стремительной природе и направившей его разумной воле человека, он удаляется от земли с быстротою мысли. Все созерцаемое на нашей гаснущей планете отражается им светописно в большом стекле ретроскопа. Луч постепенно проникает в области, куда еще не долетело позднейшее мерцание нашей планеты. Чем дальше улетает он, тем более отдаленное наше прошлое открывается его огненному взору. Картины развития земли разворачиваются в обратном порядке — от современности к первобытному прошлому. Так пущенный обратно валик фонографа воспроизводит мелодию от заключительного звука — к началу. Облик земли молодеет. Охладевшая кора снова раскаляется, клокочет потоками лавы, заволакивается туманами испарений...

Но человеческое сердце пугливо. Что ему до судьбы планет и созвездий? Затерянное в бесконечном пространстве, оно ищет тихих, успокоительных созерцаний. Приникая к другому стеклу ретроскопа, оно всматривается в затаенные уголки земной жизни. Подобно вселенским переворотам, судьбы каждого из людей разворачиваются в обратной последовательности проявлений. Река событий возвращается вспять от устья к своему истоку.

Вот убогая деревенская церковь. Возле нее утопают в зелени множество надгробий с покосившимися крестами. Одна из могил открылась. Из нее выходит дряхлый, согбенный старец. Дрожащими руками сбрасывает он с себя истлевший саван. Еще несколько мгновений, — и мы видим его на одре болезни, переходящим от полного истощения к

первой слабости недомогания. Как бы стяхивая с себя день за днем, выходец из могилы переживает перед нами свою скудную старость, труды и заботы возмужалости, весенний приток молодых сил, беззаботную юность. Далее, — умаление и детство, лепет младенчества, таинственная жизнь в материнских недрах и, наконец, завершительное исчезновение в непостижимом зарождении. Заколдованное кольцо человеческой жизни снова сомкнулось. От смерти до зачатия, сознательное земное существо в обратном направлении совершило тот же неуклонно предначертанный кем-то пробег от тайны к тайне. Какие чувства испытало бы оно, направляясь от ворот смерти к порогу жизни? Исходя из могилы, оно перестало бы томиться неразрешимой загадкой загробного существования. Будущее его — в обратном чередовании; оно там, за неуловимой гранью зачатия, к которому человек неудержимо стремится по склонам вспять обратившейся жизни. Едва сбросив с себя прах могилы, новорожденный старец увидит вокруг себя человечество, непрерывно умаляющееся и исчезающее в загадочной бездне. Душа его поражена суеверным ужасом. Он постиг, что нельзя избежать рокового удела. Опьянение красотой мира и нарастающей собственной силой заслонит ли от него надвигающийся черный мрак предзачаточной гибели? Приближение к ней неизбежно, — и только, пред концом существования, превратившись в беспомощного, слабого, но беззаботно-радостного младенца, вкусит он прелесть отдохновения. Он будет бессознательно счастлив, но купит это жалкое блаженство ценою всего, что возвышало его душу. Переживание себя было бы слишком мучительным. Ни одно человеческое существо не вынесло бы такой пытки, если бы возможно было устранить себя из жизни. Но как вернуться к блаженству небытия, из которого вышел обреченный пятиться к рождению старец? Как ускорить свой пробег к новому уничтожению и покою? Как осуществить при обратном порядке жизни замысел самоубийства?..

К счастью, ретроскоп ничего не говорит об ужасе такого существования. Давая обратное изображение нашей жизни, он, на самом деле, не направляет ее обратно. Воды реки

не текут вспять, не меняют своего русла. Показанные в ином чередовании, они изменяются, в сущности, не больше, чем истинный смысл этой заметки, хотя бы мы вздумали ее прочитать снизу вверх, от заключительной буквы к началу.

Леонид Татищев

БАШНЯ СИЛЬВИО



В воскресенье и праздничные дни, свободные от занятий, школьники любили взбираться по узкой тропинке, змеившейся в густом кустарнике по крутому склону горы. Тропинка приводила их веселую, шумливую толпу к развалинам старого замка.

От стен главного здания остались одни бесформенные обломки, поросшие сорной травой. Две толстые каменные колонны, поддерживавшие некогда крестообразные своды рыцарского зала, окутанные диким виноградом и хмелем, походили на стройные древесные стволы. Наверху одной из колонн вырос маленький дубок и, наклонившись вперед, казалось, с любопытством вглядывался в долину, в далекое синее море, сливающееся с голубым небом. Века и непогоды, разрушившие главное здание, не одолели сторожевой башни! Она так же гордо возвышалась, как в те далекие времена крестовых походов, когда по каменным ступеням ее винтовой лестницы ступали ноги закованных в сталь людей. В башню вела узкая, низкая дверь; когда-то ее забыли затворить, и железная створка, свесившись на своих заржавленных петлях, углом врезалась в землю и заросла травой. Зиявшее черное отверстие давало возможность войти в башню.

Школьники любили развалины старого замка, любили играть в войну на его обломках, нарушая своими резкими криками глубокое молчание этой покинутой могилы. Они часто подбегали к башне, боязливо заглядывали в дверь, кричали и радовались, когда гулкое эхо повторяло их глупые слова. Некоторые из школьников, самые смелые, пробовали входить в башню. Они хотели добраться до вершины, но царивший в ней мрак, спугнутые звуком их шагов летучие мыши и хлопанье мягких крыльев слепого фили-

на вселяли в них такой леденящий кровь ужас, что, напирая друг на друга, толкаясь и спотыкаясь в дверях, спешили они выбраться на вольный воздух.

Однажды, в ненастный осенний день, когда ветер завывал за стенами школы, ломая деревья и срывая с крыш домов пригорода черепицу, а дождь, косой и холодный, непрерывно стучал по стеклам, стекая мутными ручьями по колеям размытой дороги, к подъезду школы шагом подъехала бедная повозка в одну лошадь. И повозка, и конь были закиданы жидкой грязью. Из-под жалкого холщового верха с трудом вылезли два путника. Один был взрослый человек, другой — мальчик. Оба они были закутаны в промокшие одежды.

Школьники, столпившиеся у окон верхнего этажа, не могли рассмотреть их лиц. Они видели, как взрослый вынул из повозки какой-то узелок, и оба скрылись за дверьми школы.

Буря все усиливалась... Дикие порывы ветра заставляли дрожать стекла; едва освещенная тусклым дневным светом комната, в которой были школьники, на одно мгновение ярко озарилась, и где-то далеко раздался громовой удар. От горизонта с моря по хмурому небу медленно, страшно двигалась темно-лиловая грозовая туча. Молнии одна за другой точно резали ее на части, а она, неуязвимая, при страшных ударах грома все подвигалась и подвигалась.

— Дети, принимайте нового товарища, — проговорил начальник училища, заглянув на мгновение в дверь залы. Школьники оглянулись и при ярко вспыхнувшей молнии, сопровождаемой громовым ударом, от которого, казалось, здание рассыплется, увидали они стройного, высокого мальчика с длинными светло-белокурыми волосами, красивым бледным лицом и большими темными глазами.

Неожиданное появление этого бедно одетого чужого мальчика, озаренного яркой молнией, заставило школьников вздрогнуть от какого-то жуткого чувства.

Нового ученика звали Сильвио. Он был круглым сиротой, никогда не знал своих родителей, а в школу был по-

мещен дальним родственником, у которого жил после их смерти.

Дни шли за днями; всегда печальный, задумчивый Сильвио не полюбился товарищам! Они смеялись над ним, называли глупцом. В шумной толпе сверстников он оставался одиноким. Забившись в уголок с истертым томом Амадиса Гальского в руках, проводил он целые часы, не слыша ни шума, ни крика играющих вокруг него школьников. Сильвио никому не делал зла, никогда не дрался, но, если кто-нибудь бросал камнем в собаку или кошку, приходил в бешенство, лицо его бледнело, ноздри раздувались, и град метких кулачных ударов сыпался на обидчика животного.

В такие мгновения он бывал страшен, и все бежали от него в разные стороны.

Когда Сильвио в первый раз увидел развалину, увидел сторожевую башню, он точно переродился. Глаза его загорелись необычным огнем, щеки вспыхнули и восторженная улыбка, как солнце, озарила красивое лицо. Он несколько раз обошел башню, подолгу останавливая, не отрывая от ее старых стен внимательного взора; потом перешагнул через порог и скрылся из глаз школьников, которые стали перешептываться, радуясь, что ненавистный Сильвио, наверное, как и они, испугавшись, убежит из башни. Но прошли мгновения, прошли минуты! — Сильвио не выходил из башни. Тихим шагом шел он по крутой винтовой лестнице в глубоком сумраке. Его охватывала сырость нежилого здания, заматававшиеся летучие мыши задевали его в полете крючковатыми крыльями, старый филин, завожившись в глубокой амбразуре тусклого окна, сорвался и чуть не упал ему под ноги. Паутина мягкой теплой сетью ложилась на лицо. А Сильвио, не чувствуя страха, поднимался все выше и выше. Становилось светлее, грудь его начинала дышать чистым воздухом, и он очутился в верхнем помещении башни. Это была круглая комната с двумя готическими окнами без стекол. Пол, выложенный квадратными плитами, был покрыт густым слоем пыли; из середины сводчатого потолка опускался обрывок заржавленной цепи, на которой когда-то висела масляная лампа.

Теплый ветерок чуть колебал серую паутину с большим темным пауком. Он слабо шевелил своими тонкими, вытянутыми щупальцами, хлопотливо перевертывая пойманную муху.

Сильвио долго оглядывал помещение. Он видел в первый раз в жизни замок, о которых так много читал в своих любимых книгах. Какой-то тихий голос кого-то незримого нашептывал ему дивные сказки. Всей душой полюбил Сильвио старую башню. В свободное от уроков время бежал он к ней, как к старому другу, уверенным шагом подымался по лестнице. Летучие мыши уже не пугали его, а старый филин сидел в амбразуре тусклого окна и медленно поворачивал свою голову с крючковатым клювом, следя за Сильвио блестящими во мраке глазами.

Долго оставался Сильвио в башне. Ему слышались тяжелые шаги, лязг лат и оружия, трубные звуки герольдов, ржание рыцарских коней, тихий плач девушки... Перед его мысленным взором проходили те, которые в далекие средние века населяли башню.

Вернувшись в школу, шел Сильвио в школьную больницу, садился к кровати какого-нибудь больного и своим тихим голосом рассказывал ему сказку за сказкой. Все больные заслушивались ими, забывая свои страдания, а когда спрашивали: «От кого слышал ты столько дивных сказок, Сильвио?» — «От старой башни» — отвечал он.

Прошли за годами года, и сказки Сильвио полетели из страны в страну, меняя одеяния одно ярче другого. Весь Божий мир облетели они и вернулись к своему создателю. Еще издали видел и слышал их полет очарованный Сильвио. Они летели под покровом широких белых крыльев славы, летели с громкими трубными звуками.

Когда-то ненавидевшие его школьники, превратившись во взрослых людей, вспоминали о нем с благодарностью и часто собирались у старой башни, переживая вновь беззаботные школьные годы. Они не называли ее больше «сторожевой» или «старой», для них она была «башня Сильвио».

А далеко за морем, на окраине кладбища одного приморского города, под мраморной плитой с бронзовым крестом спит вечным сном рано покинувший мир — Сильвио.

«В теплые лунные ночи, — говорит кладбищенский сторож, — на могиле Сильвио толпится много людей». Босые монахи в сбитых сандалиях, закованные в стальные латы рыцари с шлемами «на молитву», менестрели в потертых от дальнего пути бархатных платьях, с лютней за спиной, бледная девушка в подвенечном платье, с венком на голове, карлики, а за ними призрачная вырастает из земли старая зубчатая башня с ушастым филином в готическом окне, и реют в лунном сиянии летучие мыши.

Владимир Гордин

СТРАХ

Серые сумерки наполнили собой комнату, и сквозь их узорную ткань синим квадратом выделялось окно. Предметы тихо двигались. Маятник за стеной маршировал — «раз, два» и не давал спать. Роман закрывал веки, повертывался к стене, натягивал одеяло. Он гнал от себя грустные мысли, старался думать о чем-нибудь веселом, забавном, — все напрасно. Глаза все яснее видели знакомую обстановку.

Вдруг услышал за дверью шаги. Кто-то постучался.

— Кто это в такой поздний час?

— Отвори, Роман, это я.

Узнал по голосу своего друга. Двери тихо отворились. Зачернел кто-то высокий.

— Зажги свечу!

— Сейчас.

Пламя трепетно поднялось, осветило комнату. Задрожали тени на стене.

На Валентине не было шапки. Глаза безумные блуждали, перебегали быстро с предмета на предмет. Лицо землей покрылось. А те волосы, которые раньше вились золотыми кольцами, спутались, нечесанные. Он сел у стола. Сухие губы что-то шептали. Спина согнулась. Роман, босой, не одетый — с удивлением и страхом смотрел на него. Тишина сгустилась, давила обоих.

— Я бродил по улицам весь день — да сих пор — и вот мимоходом к тебе зашел. Я не с намерением, а случайно зашел... — прохрипел Валентин и понизил голос.

— Какие отвратительные женщины бегают там... Кричат, бранятся, обнажаются при всех — какой-то кошмар! Они, наверное, все больны... — Неожиданно замолчал и пронизывающе посмотрел Роману в глаза.

— Только не удивляйся. Я сегодня решил умереть. Со мной случилось несчастье. Так — пустяк.... Смешной анекдот... Все равно, если бы потолок на меня вдруг обрушился... Я заболел той страшной болезнью, которая всякого порядочного человека приводит в трепет. Только это, — больше ничего!..

Слова его громко звенели. Он улыбался холодной, непроницаемой улыбкой.

Роману показалось, словно где-то близко метнулась молния. Грянул короткий гром. Комната стала быстро, быстро каруселью вертеться.

— Ты поражен, — простонал Валентин. — И минуты тебе не казалось, что я шучу. Поверил... Конечно, такими вещами не шутят...

Хорошо было бы, если бы ты своими руками меня убил... Нет, нет... не пугайся, — я буду жить... знаешь, для чего? — заторопился он. — Хочу служить бичом, возмездием... Эта мысль меня давно манит за собой... Я обнимусь с дьяволом и станем посещать дома этих сытых, порядочных людей. О, они ничего не увидят не поймут сразу.

Мы тщательно прикроем свои язвы... Наш поцелуй дорого будет стоить. После него выпадут волосы, зубы; опадут губы, носы... Один поцелуй и помутится рассудок. Но это еще не все! Такая болезнь одной смертью не сыта. Она протягивает длинную нить через много поколений. Медленное разрушение, не знающее жалости. С отвращением и ужасом будут они бегать друг от друга.

Дверь где-то хлопнула. Шаги застучали. Зубы Романа, точно в лихорадке, плясали. Медленно и глухо, как из бутылки, било за стеной три часа.

— А-а... а-а... — в иступлении закричал Роман. Он руками зажал уши. Голос оборвался.

— А-а... а-а!.. помогите, если здесь есть живой человек. Уведите от меня — сумасшедшего, сжальтесь, уведите!..

— Нет, я с ума еще не сошел. А ты вот трус, как и я... как и я... Го-го... И если так случится, что понесу за собой опустошения, то знай, ты один виноват будешь!.. Ты должен убить меня, а трусишь...

Валентин неожиданно встал, пошатываясь, подошел к Роману и над самыми ухом прокричал:

— Не посмеешь меня убить... Трус. Пожалел бы хоть невинных маленьких детей.

И плюнул ему в лицо.

Он постоял мгновение, потом медленно, неестественно выпрямившись, вышел из комнаты.

Дверь и стены задрожали. Свеча погасла. Роман неподвижно сидел, окутанный серым туманом. Глаза в ужасе закрылись. Капли одна за другой падали из-под крана умывальника. Квадрат окна слегка румянился зажигавшимся небом.

Владимир Гордин

ГРУСТНАЯ СВАДЬБА

День растаял в синих сумерках. Маленькая комната расширилась. Стены стали неуловимо подвижными. Столик, стулья, кровать уплыли, потонули, — не видно. На бледном небе за синим окном — еле теплился месяц. «Тик-так, тик-так...» — спеша, стучал будильник на комоде. Завернувшись по самые глаза в теплую шаль, девушка плакала на подоконнике. Она тихо плакала, чтобы соседние комнаты не слышали. Слезы резали веки, — больше ничего.

Из темного угла вышла старенькая бабушка-ночь, шамкала чуть слышно, шуршала губами: «Отчего ты плачешь, дитя? Глаза потеряют блеск свой синий...»

— Как же мне не плакать, бабушка! Еще год тому назад только отец жив был. Хотя он всегда капризничал — больной, но мать без протеста исполняла все его желания. А когда он умер, что с нею было!.. Теперь она снова выходит замуж. Завтра венчается. Он, чужой, безобразный, — будет ласкать мою маму, которую так люблю... Мама, мама, не надо... — так сама с собой разговаривала молодая девушка, сидя на подоконнике.

Сколько ей лет? Не все ли равно, сколько. Она знает, — жених мамы злой, злой. Нечаянно подслушала их разговор:

— Хочу отдать последний долг мужу: поставлю памятник на могиле.

— Мужем твоим я теперь буду. Ты должна забыть его. совсем забыть. Не хочу, чтобы ты о нем заботилась, ставила памятник, — закричал он в раздражении.

Мать замолчала. Ушла куда-то. Не скоро вернулась. О чем она думала? Что на душе у нее творилось в это время?

Ночь все закрыла своей черной, широкой тенью. Луны нет, — скрылась под хмурой тучей. Ветер сиреной заплакал. Стал подметать пыль с улицы, бросать в окно и выше. Вздогнули стекла. Застучали железные задвижки. Струя холода проникла через раму и легла на разгоряченном лице девушки. Она стала ломать тонкие пальцы. Они тихо, жалобно хрустели...

«Бедный папа, лежит, землей покрытый... В темные ночи один... Одинокий папа...»

Чуть расцветшая молодая грудь поднялась немного. Из глубины — тяжелый воздух. И большие синие глаза снова заплакали.

— Неужели я так же когда-нибудь поступила бы, как мама?.. — шептали тонко очерченные губы. — Нет, нет! — И гордо откинула немного назад голову. Руками сняла с лица длинную прядь золотых волос и спрятала их под шалью.

«Нет, она так никогда... Вечной вдовой...»

Чутко прислушалась. Приложила маленькое ухо к окну. Неожиданные звуки, словно из самого неба. Пела скрипка. Знакомая мелодия: тягучая, скорбная, с тихими переливами. Ручей бурлил в ночном лесу, окруженный стволами ветвистого дуба. Это играл «он», которого она ни разу не видала, но чувствует его всей молодой, расцветающей душой, — чувствует днем и ночью. Как он, должно быть, хорош. Похож на свою музыку. Львиная голова. Волосы светлыми колечками, чуть пробивающиеся усы. Глаза близорукие, большие, карие. Любимый! Для него она пожертвует, чем может. С радостью пойдет на жертву. А если... не дай Бог, не дай Бог... Она вечно будет плакать вместе с ней, с родной, осиротевшей скрипкой... Нет. Она больше не будет даже думать об этом, — нехорошо так, грех большой!..

Страшно стало. Холод морозом пробежал по спине. Задрожала всем телом. Крепко-крепко сомкнула зубы. Жутко одной в темной, полной неясных теней и тихих шорохов комнате.

Неожиданная полоса света на мгновение мелькнула на пороге. Из гостиной с лампой в руках вошла мать, — высокая, гибкая, с золотыми волосами, как у дочери. Голова немного склонилась на бок. Черные брови и длинные ресницы еще больше оттеняли синеву глаз.

— Отчего ты не спишь, девочка моя? — виновато-ласково звучал голос матери. И вдруг она увидела слезы дочери. Отвернулась. Лицо еще бледнее стало. Долго стояла на одном месте и молчала. Потом взяла маленькие, холодные руки девушки, приложила к своим губам,дохнула на них. Согрела окоченевшие пальчики. Бережно к ним прикосну-

лась. Ничего не сказала. На цыпочках, как бы боясь кого разбудить, вышла из комнаты.

Снова темнота наступила. И снова зазвенела скрипка серебром каменистого ручья — в ночном лесу.

Вода бурлит, бежит, с каждым камешком обнимается и стремится дальше, далеко в море. Самая высокая, самая гибкая нота вьется, переплетается, как дикий виноград. Подражает звонкому смеху, радостному крику детского хора — на цветистом поле.

Печаль сжала грудь. Юное сердце, впервые познавшее любовь, забилося еще и еще чаще. Дышать трудно стало. Маленькие, холодные руки спрятались. А слезы, слезы — без конца, — откуда столько?

Полоса света мигнула на пороге. Мать прошла мимо открытой двери. Но для чего же она снова надела траур? Креп тянулся до пола. Она крадучись шла, оглядывалась, — боясь, что кто-нибудь увидит ее. Застучали каблуки в третьей комнате. Далеко хлопнула дверь. Куда она ушла так поздно? Девушка замерла на мгновение на месте. Прислушалась к тишине. Страх заглянул в самые глаза. В лихорадке соскочила с подоконника. В передней накинула пальто. Бегом пустилась вниз по лестнице. На улице пусто, ни звука. Фонари погасли и стояли точно слепые. У поворота темнел знакомый силуэт матери. Девушка пошла по следам ее — на большом расстоянии. Захватило дух пред неизвестностью. Быстро шли, точно кто гнался. Шли без конца — далеко. Протянулась длинная вереница улиц, переулков. «Какие они все ночью странны, незнакомые. Трудно узнать их... Но куда же мы идем?..»

Голова горела, как в бреду. Тряслись холодные руки.

За городом далеко ширились поля, потом чернел лес. Вблизи белым пятном выделялись церковь и высокая ограда. «Мать не видит, что она не одна, иначе...» Оборвала мысль. Обогнула церковь, обошла кругом к кладбищу. Без труда перешагнула через узкий ров. Ноги в испуге онемели. Казалось, она стучала костылями. Над головой монотонно шумели широколистые дуб и липа. Между стволами густо рассеялись памятники, кресты. Много, много их — большие и малые, — все подняли руки к небу.

Девушка уже давно догадалась. Мать бежала впереди и путалась в своем длинном черном платье. Она подошла к низенькому, травой заросшему холмику. Встала на колени. Обняла руками накренившийся набок деревянный крест. Глухой, разбитый плач повис над могилой отца и долго, медленно таял.

— Бедная, несчастная моя мама! — шепотом повторяли-прыгали сухие губы. Леденящий мороз проник до самых костей. Сердце задребезжало, как упавшие часы, и остановилось. Белый загадочный свет молнией метнулся в глазах. Загорелся мозг.

— Мама... мама... — хрипло крикнула она дважды и упала лицом на сырую траву.

Зазвенели в воздухе порвавшиеся струны.

Ветер смыл тучи в сторону. И месяц всплыл в средину неба.

Владимир Гордин

ДВОЕ

— Друг мой, чего же ты так пристально смотришь в глаза мне?.. Жалеешь? Но ты так же голоден, как и я.

Вард завыл, жалобно, тягуче, долго.

— Перестань. Тебе, такой гордой собаке, это не идет. Умрем молча, в торжественной тишине. Без злобы, без обиды умрем. Так, верно, нужно.

И белая рука тонкими пальцами нежно ласкала длинные, ласковые уши своего молчаливого друга.

В большой мастерской художника, в пятом этаже, под самой крышей, в углу стоял большой шаткий стол, около него два некрашенных табурета. Кровать и постель давно проданы. Посреди комнаты в беспорядке толпились мольберты разной величины с начатыми холстами. На стенах, наскоро прикрепленные кнопками, висели акварели, неоконченные картины масляными красками. Широкое окно с частым переплетом до половины закрыто было зеленой бумагой. На голом столе, без скатерти, догорала лампа. Желтый глаз смотрел в потухающее лицо художника. Они гипнотизировали друг друга.

Близко, рядом, яркой сталью мигал новый револьвер.

— Вот лампа гаснет. Темно станет. И я решусь, — малодушный. Во мраке легче. Кажется, что ты уже умер. Лежишь давно в могиле.

Побелевшие губы дрогнули. Тонкое, безбородое лицо от боли разбилось на мелкие куски.

— Ты меня понимаешь, дорогой Вард. Все понимаешь. Знаю. Только не плачь. Не нужно слез. Зачем?.. Бесполезно. Никто все равно не услышит... Лампа еще горит, — сказал он задумчиво после паузы. — Может случиться чудо. Ну, а если она погаснет раньше того времени, ты ведь никому не отдашь моего тела. Об этом мы уговорились... И я спокоен. Не веришь?

Светлая улыбка оттенила боль на губах.

Большой рыжий с белыми пятнами сенбернар устремился своим выразительным лицом. Неподвижным, зачарованным взглядом смотрел он на огонек низкой лампы, словно оттуда только ждал чуда. «Вечно гори... гори...» Желтый глазок боролся со сном. Закрывал и снова открывал веко.

В тишине ночи ясно слышно было, как на чердаке тоненькими лапками бегали мыши. Они шуршали, визжали, резвились.

Часы где-то далеко, с глубокой дрожью, пробили два.

— Видишь, как поздно, а мы с тобой, мой Вард, все еще не спим... Быть может, заснем скоро... надолго...

Глаза его прояснились. Яркий, загадочный блеск загорелся в темных зрачках.

Собака задрожала всем телом.

В комнате еще тише стало. Потрескивал только фитиль под зеленым абажуром.

— Тихая вода, какая ты страшная в жизни! Мертвая зыбь, кто попал к тебе, в твои воды, тот не уйдет, нет... Я вижу, Вард, ты укоряешь меня. Думаешь, я слишком тороплюсь умирать?.. Но если дольше не могу выносить такого голода? Разве ты не видал, как я сегодня ел бумагу? Пробовал глотать холст, но он режет горло и не убавляет боли в желудке. Десны опухли. Глаза перестают видеть. А голова так тесно захвачена в тиски, что еле дышу. Все вокруг вертится, ходит... Не могу... не могу дольше... Я с ума схожу. Если останусь жить еще хоть один час, я и тебя съем, Вард...

Эхо ответило жутким криком и осеклось вдруг. Изможденное лицо, обтянутое желтой, сморщенной кожей, покрылось красными пятнами. Темные волосы упали и закрыли ему лоб. Тонкие, высохшие руки протянулись, — ловили воздух. Кого-то невидимого звали к себе на помощь. В ушах зазвенели колокола, сначала тихо, потом все яснее и громче. Тяжелые чугунные языки раскачивались, — они ударялись о толстую медь, — голосили. Багровое зарево окрасило черное окно... Рожи, красные, темные, широкие, длинные, вытянутые до потолка, обступили его со всех сторон. Кольцом закружились. Со свистом и гиком подняли вихрь. Высунутые языки касались пола.

— А-га-га-га... У-гу-гу-гу... — кричали голоса на крыше. Они смеялись, хохотали мелким смехом.

Прошла минута — все исчезло. Он очнулся. Пламя в лампе еще раз поднялось. Заколебалось и сразу погасло. Остал-

ся огненный след на фитиле. Густой мрак натянулся и все покрыл своей черной тенью.

— Что это?.. Кошмар был?.. — шептал он, задыхаясь. — Пора... Прощай, мой друг, мой Вард... Прости...

Ощупью стал искать револьвер. Долго в волнении не мог найти его. Протянул руки далеко, гораздо дальше, чем нужно было. Вдруг ощутил холодную сталь. С силой рванул к себе тяжесть. Закрыв веки. Трясущейся рукой приложил короткое дуло к подбородку. Неуверенно нажал курок. Мигнула молния. Короткий удар, как удар грома, на мгновение пробудил стены комнаты. Зазвенели стекла в переплетах окна. Качнулся мольберт. Упал холст. Череп разлетелся. Мозг и кровь окрасили стену. Лампа опрокинулась. Тяжелое тело с шумом покатилося на пол.

Неподвижный Вард вскочил. Бешено запрыгал, закружился. Встал на пороге. И низким непрерывающимся ревом, вытянув шею, в мучительном страхе надолго завыл.

Послышались одинокие торопливые шаги — далеко внизу. Потом много тяжелых ног, с шумом они стали подыматься по лестнице. Все ближе и ближе. Раздался стук в дверь. Стук повторился.

Вард прислушался. Недоверие и надежда сплелись. Он вздохнул и зарычал.

— Это здесь стреляли.

— Нужно ломать скорее дверь.

— Но там собака... Прежде, чем мы успеем войти, она кого-нибудь из нас растерзает.

— Она напугана и раздражена.

— А мы сделаем отверстие в дверях и просунем ей на палке отравленное мясо. Она, наверное, голодна, — догадался первый.

Все согласились.

«Жестокие, как дети... Они думают только о себе...» — с отчаянием говорили испуганные, воспламененные глаза Вар-

да. Он медленно доплелся. Улегся рядом с остывающим рас-
простертым трупом. Лапами закрылся. И тихо застонал.

Глухо дрожала дверь под острием топора.

Н. Д.-Энш

МУХИ

Поддень. Знойно. Томно, жарко колосьям ржаного поля, врезавшегося клином в лесную проталину. Жарко, пить хочется. А серая, растрескавшаяся земля пышет сухим жаром. Завидуют колосья траве на опушке леса: она такая сочная, в ней самой чувствуется влага и короткая прохладная тень на нее падает.

В безмолвии зноя только два звука, и такие они одно-тонные, такие беспрерывно длинные, что кажутся тоскливым продолжением знойного молчания полдня: трещат кузнечики, жужжат мухи... Жужжат мухи и выются, и липнут назойливо, неотвязно к лицу, рукам и заскорузлым ногам с безобразно раздувшимся большим пальцем.

Это лежит на траве, у опушки леса, Яшка Дуда, лежит и думу думает... А ленивый, растомленный зноем, мозг не хочет слушать... Ногу больно дерет, так, что ступить невозможно. Жарко. Мысли ползут, обрываются и снова тянутся, тянутся, неотвязные...

Лицо у Яшки землистое, истомленное. Глаза красные прищурены. По кудлатой голове скользят пятна тени и ползают мухи. Ползают, путаются и жужжат в волосах, как в паутине. Тонкие запекшиеся губы крепко стиснуты, отчего жалкая косматая бородачка поднялась вверх, словно с дерзновенным требованием к небу.

Через рвань бурой рубахи сквозит исцарапанное, желтое, отощавшее Яшкино тело. Синие пестрядинные штаны заплатаны и, рваные, обвисли на костяшках сухих ног. Выгоревший изжелта-зеленый картуз с оборванным козырьком смят под локтем Яшки. Спиной он прислонился к кочке.

Два дня до этого он очень страдал от голода, а теперь нет, — только вот испить бы... Вчера, проходя лесом, он увидел ручей, да далеко! Теперь не дойти с ногой-то, да и неохота... Все одно — помирать...

«Помирать!» — эта мысль пришла к нему просто и не испугала, не поразила неожиданностью. Ему было все равно: видеть это безразличное небо, это равнодушное тусклое солнце, или нет.

Все с голодного года пошло! Легко сказать! Три года подряд неурожай, ну и распалось все понемногу... Скотину —

которую продали, а которая попухла с голоду и сама убралась.

Вдруг в чаще березы над Яшкой запрыгала маленькая серенькая птичка и, затрепетав крылышками, пропищала: пить-пить! Яшка завозился, поднял голову и, пожевав запекшимися губами, прохрипел:

— Ишь ты, тоже тварь, пить запросила... Пить...

Он опять пожевал губами, глотнул сухим горлом, лег, опустив голову на кочку, закрывая горячие глаза.

Сейчас же мухи, вспугнутые было его движением, облепили лицо, руки, ноги, поползли за рукава и за ворот, щекоча и жали потное, горячее тело. Яшка снова приподнялся и со стоном подмял под локоть картуз. Мухи отлетели, но неотвязные мысли потянули из самой глубины Яшкиного сердца бесконечную пряжу воспоминаний.

И вспоминается Яшке страшный год, вспоминается, как, отдав детям последнюю лепешку из мякины с лебедой, он с холодным безнадежным ужасом в сердце ждал наступления утра.

В то время никто не мог сидеть в избе; бродили до улице, собирались сходами, толковали, волновались и волновали друг друга, ожидая обещанной помощи, а тем временем стала по людям хвороба ходить. Вспухли его девчонки и отнесли обеих на погост.

Яшка же в то время сидел над мертвой женой и, кроме нее, ничего не видел. Силком ее у него отняли, положили в гроб и понесли... Помнит Яшка, как пошел он на погост и стал могилу рыть — тут же, рядом с детками. Рыл он медленно, тягостно и с каждой лопатой часть своей жизни выбрасывал. Докопался до крышки маленького гроба и стал углублять место около, а угол еще свежей тесовой крышки, на него смотрит, дразнится: все мы тут вместе будем, а ты оставайся один. Устал Яшка, ах, как устал. Роем яму глубже и глубже и кажется ему, что для себя он место роет, кончит работу, ляжет здесь и успокоится с милыми своими. Дружно, мирно жили семьей и дружно, мирно лягут все вместе.

И тогда так же вот жарко было! Тихо было на погосте, так же и песок в могиле золотился, и мухи вились над

ямой — мухи...

Давно бы кончил с собой Яшка Дуда, если б не было ему жаль старухи-матери. Для нее он жил, для нее работал, а теперь вот и старухи не стало, другая неделя пошла, как схоронил ее Яшка.

Нога вспухла уже до колена и не рвет, а палит раскаленным железом и всего его обдает жгучим холодом. Все мешается в его сознании: солнце со злыми беспощадными лучами, палящая боль, палящая жажда, все переплетается в кровавом кошмаре.

Он приподнимается, шарит вокруг себя и тянет конец кушака. Чувствует Яшка Дуда, что ему разом легко стало, и нога не болит, и в воздухе прохлада, и запах такой хороший от леса и травы...

Глянул он кверху, а по березам огни бегут, лампадки так и загораются, по верхушкам в лес убегают.

Слышится Яшке — высоко над ним кто-то плачет, жалуется, звеня серебряным колокольчиком.

«Зовешь? — Понимаю!» — хрипит он и, волоча тяжелую, точно чужую ногу, тащится в лес.

Истомленные зноем, поникли ветви, поникли листья, притаились птицы. Тихо в лесу, тихо... Душно.

— «Вот она пришла, пришла высоко — зовет...» — улыбается Яшка, и его красные глаза блуждают по деревьям.

Нашел. Уперся здоровой ногой в пенек, обхватил старую березу одной рукой, а другой перекинул через толстую ветку связанный кушак.

Перекрестился Яшка. Все так же улыбаясь, сунул голову в петлю и оттолкнулся от дерева... Охнула старая береза, проснулась, прислушалась и, затрепетав нежными листьями, склонилась над Яшкой.

А торжествующие черные мухи облепили Яшку, беспрепятственно впиваясь в лицо, забираясь за пазуху, в рот и нагло ползая по открытым глазам...

Борис Садовской

МУХА

Андрей проснулся ночью, сел на кровати, сморщась; руками голые колени стиснул.

Как же это случилось? Нет, после; прежде — сон.

Сон глупый. Будто идет Андрей полем, слышит — кричит кто-то издали: «Несут!» И выходят из лесу солдаты ровным шагом, в ногу, по два в ряд; на плечах у передних качаются три трупа: трое товарищей мертвых. Все так мерно шаги отбивают: раз-два, раз-два. Остановились. И видит Андрей: жилистые мертвые ноги дрогнули на плечах; сняли солдаты одного покойника, спустили ногами на землю, — и мертвец зашагал по полю в длинной белой рубашке, неуверенно, но мерно: раз-два, раз-два; за ним — остальные двое. И пошли опять полем солдаты, зашагали; впереди всех три босых мертвеца пошатываются в рубашках длинных.

И сейчас же привиделось Андрею: стоит он в ночном переулке, несуразном, загроможденном домами, где слышно, как гудит издали трамвай. И хотя все тихо кругом, но знает Андрей наверное, что трамвай днем здесь бывает слышен. Входит он в темный подъезд, и этот подъезд мерцающий знаком ему хорошо, хоть никогда он здесь не был; вот дверь, на ней вывеска. На вывеске белыми буквами написано: «Молочное хозяйство».

Так было во сне. А наяву? Да неужто же то все наяву было, а не во сне?

Андрей пощупал виски, пошарил спичек, зажег свечу. Шея болела по-прежнему; нет, еще больней. Ломило и голову, и спину. Он подошел к окну и отдернул штору. Майская ночь умирала. Еще часа полтора утренней дрожи — и будет, как днем. В туманном сумраке зубчатая какая-то крыша белела, тополя у стены трепетно оборачивали ребром серебристую чешую листьев. Андрей попробовал закурить; ничего не вышло.

Как же случилось все это? Как?

Андрей встретился с Эльзой совсем недавно: это в марте было. В весело-раздражающем, звучном каком-то воздухе луна плавала, как желтый кусок льда в холодном шам-

панском. Весеннее небо на шампанское похоже, мартовское небо. В марте пьяней бывают люди, чем в мае, да только не все умеют пить этот мартовский пьяный воздух. Андрей шел из театра, унося смутный образ Эльзы, шептал ее имя, — и хотелось ему петь, а воздух сам ему в уши пел, и коты так нежно кричали на зеленых и красных крышах. Эльза (на самом деле звали ее Елизаветой, да Андрею больше нравилось ее Эльзой звать) в тот вечер была в белом платье с вырезом вокруг белой шеи, и как хитон греческий струилось по ней платье.

В глаза ее Андрей взгляделся не сразу. Глупые эти мужчины (так говорила часто Эльза), что они в женщинах понимают? Рядят их в какие-то райские одежды, крылышки ангельские им приделывают, молиться на них готовы. Смешно.

Андрей улыбнуться хотел, но и улыбка не вышла. Закурить зато удалось теперь.

Как это Эльза пришла к нему? Право, и вспомнить трудно. Недели не исполнилось их знакомству, встретились они на бульваре. «Пойдем ко мне», — шепнул Андрей. Она взяла его под руку, и вот...

Андрей оглянулся дико и уронил папиросу. Здесь бывала она, в этой самой комнате!

На кровати за перегородкой лежали они в тот вечер. Целовала Эльза румяными губами, ласкала бедного близорукого Андрея. Тут только и разглядел Андрей ее глаза. Желтые, смотрели они, как у коршуна, прямо, не мигая; на Андрея устремлялись хищные глаза, но не видели его, точно проваливался он в их желтую бездну. Андрей полюбил Эльзу. Когда уходила она от него, тоска одолевала Андрея; дело из рук валилось; душа стонала и, как эхо, в ущельях ее отдавалось: «Эльза»! Уходил тогда из дома Андрей, бродил по ресторанам, пил, чтобы позабыться, уснуть скорей, — не пьянило вино, не забывалась Эльза: образ ее радостно светился на дне бокала и скрипки напевали нежное ее имя.

О любви между собой не говорили они. Раз спросил ее Андрей: «Любишь ты меня, Эльза»? Она отвечала: «Очень. У

тебя губы такие мягкие».

Когда это началось? Вдруг сердце его стало ныть больнее и больнее с каждым часом. Отчего? Отчего порой принимался он горько плакать, оставаясь наедине с собой? Или счастья одного мало, чтобы быть счастливым? Или любовь без тоски уже не любовь? «Эльза моя, Эльза», — шептал он, вздыхая. И горело, перегорало сердце.

Был у Эльзы любимый шелковый капот; его надевала она, приходя к Андрею, у него оставляла; в шкапу всегда висел он, да и сейчас висит. Андрей прошелся по комнате, отворил шкаф; там к углу прижимался сиротливо измятый, розовым кружевом обшитый капотик. Чуть-чуть еще пахнет от него Эльзой, и вспоминаются ее тело, свежее, как золотистый лимон, и духи ее, и родинка на плече, и яркие губы.

Вот как это случилось. Андрей уселся на кровати, протянул руки и нагнул голову, будто готовясь слушать сам себя.

Пришла тогда Эльза... когда это было? Да, две недели будет в среду, и сказала... Вот эти самые слова: «Ну, Андрей, пора кончать нам наши амуры. Хорошенького понемножку». Он сначала ее не понял. «Куда же ты уходишь, Эльза?» — «Я ухожу совсем, прощай». — «Как? А я?» — «Ищи себе другую». — «Да ведь я... я же люблю тебя, люблю, Эльза». — «Глупости». — «Я не могу жить без тебя». — «Пожалуйста, без фраз».

Эльза ушла. Андрей долго тогда не мог поверить. Ходил по комнате. Разводил руками. Лампа начала коптить, он ее поправил. Застонал, упал на пол, вцепился зубами в руку. Выбежал на улицу без шапки. Был конец апреля. Извозчики бойко дребезжали, мальчишка с угла подскочил к нему: «Барин, купите фиалок».

Андрей взялся опять рукой за шею. Болело упорно: опухоль на затылке стала еще заметней. В голове певучий жар звенел; зубы ляснули раза два в озноб.

Ведь знал он, что пойдет Эльза в тот вечер к любовнику, в рошу, — знал наверно. Десять дней промучился — хотел любовь пересилить. Не выдержал, пошел. «В последний раз. Проститься иду», — говорил самому себе. А зачем же было

брать с собой револьвер? Лежал бы он, плоский, угловатый, на столе, в кожаном футляре, — и не было бы ничего. Нет, сунул-таки его в карман Андрей, да еще запасную взял обойму. И вот видит он тенистую, узкую тропинку в роще; идет торопливо стройная, веселая Эльза; в руке зонтик сиреневый и сумка бархатная с золотыми кистями, — знакомое все, милое, и бросился он на колени и охватил ее крепко. «Люблю тебя!» Вырывалась Эльза, сердилась и зонтиком колотила по голове Андрея и по лицу. «Пусти меня, слышишь?» — «Эльза, вернись». — «Не могу я любить такого плаксу, понял?» — «Скажи только, куда ты идешь, и я отпущу тебя!» Эльза захохотала. Зло захохотала, во все горло, как уличная девка.

Да был ли выстрел? Был, должно быть. Упала мягко Эльза на траву, лежала спокойно и, казалось, хохот ее все еще в воздухе дрожал. Над правым виском зачернела рана; ровными каплями падала на траву густая кровь.

Андрею вдруг сделалось жарко; он вскочил с кровати, открыл с треском окно; властно охватил его резкий воздух. Зубчатая крыша заметно посветлела. Белая кошка проползла через улицу. Солдат, пьяный, отстукивал мерно шаги по тротуару, — вспоминался сон.

А потом что было? Никто не узнал ничего. Андрей приходил к ней. Она в гробу лежала. Голова замотана марлей. Венчиком закрыт лоб холодный. Руки синели под кисеей. Не Эльза будто, а чужая женщина какая-то, вылепленная из воска. Муха жужжала и билась о стекло. Муха надоедала. Хотелось придавить ее. В углу откашлялся кто-то и зачитал басом. Муха полетела через комнату; гудя, закружилась над Эльзой; уселась, зеленая, на золотой парче.

Андрей закрыл окно. Хмурый, заходил он по комнате, трогая затылок, потом подошел к шкапу. Эльзин капотик по-прежнему висел, измятый и унылый, как саван. Андрей запер шкаф и ключ сунул под умывальник. Шея болела нестерпимо. Что-то надо было непременно вспомнить, но память падала, как подстреленная птица. Что случилось с ним тогда, у гроба? Что было такое, чего нельзя забыть? Сам он

тогда задал себе вспомнить, чтобы не забыть. И забыл. Но надо же вспомнить, надо!

Тут лихорадка затрясла его, и Андрей повалился в подушку горячими губами. Бред овладевал им. Шли солдаты-покойники, отбивая шаг: раз-два, качались, как пьяные, ругались, колотили Андрея зонтиком по лицу. Муха жужжала и билась о стекло. Муха надоедала. Хотелось придавить ее. Насилу разобрал он, наконец, что это вентилятор гудит на лестнице. С усилием оторвал он пылающую голову от подушки. Свеча догорела, но в комнате было светло: дымом ходил по ней майский рассвет, голубоватый. Андрей оделся; застегивал долго пиджак то на левый борт, то на правый, то на оба сразу; наконец, бросил, не застегнув. Шляпа никак не надевалась на голову. Папиросы, одна за другой, закуриваясь, потухали; весь пол он усыпал ими. В комодѣ, в куче грязного белья, валялся револьвер. Андрей достал его, осмотрел: не хватало одной пули, той самой...

Кладбище было недалеко, но, когда Андрей остановился, дыша тяжело, у свежей могилы Эльзы, холодный рассветный ветерок разогнал уже белые пары на востоке и солнце приготовилось всплыть. Рыхлая земля мягко поддавалась безумным ударам заступа. Вот показались придавленные землей завядшие, перепутанные цветы; сверкнула под ними гробовая крышка. Андрей задыхался; он был весь в поту. Дрожащими руками отдирав он крышку, окровавив пальцы; бесшумно вскрылась она и Эльза показалась во весь рост, вся в белом, в белых башмаках, с цветами на груди, закрытая кисеей, как фатой венчальной. Андрей начал понемногу вспоминать. Низко пригнулся он к лицу Эльзы; запах смерти заставил его задержать дыхание; под кисеей проступили близко знакомые темные черты, и вдруг ясно увидел он, что мертвые губы двинулись. Кисея шевелилась, шевелилась на самом деле. Эльза улыбалась. Андрей рванул прозрачное покрывало и увидел глиняное лицо с провалившимися синими веками. Большая зеленая муха, околевая, бессильно шевелила крыльями на почернелых губах. Андрей вспомнил.

Внезапное забытье напало на него. Все так же болела шея, но было спокойно на душе. Солнце всходило. Совсем не заметил Андрей, как очутился он за кладбищенской оградой и очнулся только в каком-то несуразном, загроможденном домами переулке.

Сам не зная зачем, вошел он в полутемный подъезд. Был этот дом ему знаком, хоть никогда он в нем прежде не был: знакомые грязные ступеньки по лестнице, знакомое темное окно во двор. Вот и дверь с вывеской; на вывеске написано белыми буквами: «Молочное хозяйство».

Муха зажужжала изо всех сил, громче, громче; она гудела корабельной сиреной, ревела, как исступленный дьявол. Это пошел трамвай.

Андрей прижал револьвер к виску.

— Эльза! — прошептал он в последний раз.

Дмитрий Цензор

САМОУБИЙСТВО

Мы, не зажигая электричества, присели к окну, выходящему на Фонтанку. Хотелось посмотреть в глубину августовской ночи, когда таинственно и бездонно темно-синее небо и четки крупные звезды. По небу передвигались лохматые груды. Недавно шел дождь, холодный и упорный, а теперь чистые звезды проглядывали через просветы растерзанных туч. И длинная набережная Фонтанки с редкими фонарями блестела, тусклая и мокрая. Река — темная и невидимая, с неожиданными отражениями огней — катилась где-то внизу. Изредка в темноте мелькал красный огонек и, шипя, пробегал по реке пароход. И снова было внизу, где вода, — черно, тихо и пустынно.

Мы молча смотрели в призрачную тьму ночного города. Казалось — Судьба при тусклых точных огнях пишет страницы человеческих трагедий — незаметных и грозных, смешных и брызжущих кровью.

— Как тихо и жутко, — сказал мой приятель Вася, прерывая долгое молчание. — Я уверен, что теперь не один человек в Петербурге думает о смерти...

Мы вспоминали о случаях самоубийств, известных нам, всегда наполнявших нас тоской и тревогой своей безысходностью и поэтическим ужасом. Я рассказал Васе то, что мне пришлось видеть недавно.

...Были грустные сумерки, прозрачно-синие, обрызганные золотисто-красными бликами ушедшего солнца. Это уже кончились белые ночи, и тьма обещала скуку и пустоту улиц, напоенных желтыми огнями и одиночеством.

На изгибах Екатерининского канала запирались лавки, лабазы, постепенно увядало движение. У одного поворота, у решетки канала, стояли двое: высокий мужчина с красным, бритым лицом, одетый в серый костюм и черный котелок, а возле него девушка в черном. Из-под английской шляпы смотрели большие, просящие глаза, а губы на бледном лице складывались в страдальческую гримасу. Мужчина хмурился, глядел в сторону, облокотясь на решетку. Девушка о чем-то просила его тихими и тоскливыми движениями рук. Потом мужчина сказал что-то резкое и решительное, отчего она вся поникла и беспомощно опустила

руки. А он, твердо повернувшись, не оглядываясь, пошел по каналу, играя на ходу тростью. Девушка страдальчески сжала руки и смотрела ему вслед, пока он завернул за изгиб канала. И вдруг, пробежав несколько шагов, перегнулась к воде. Она была уже почти на той стороне решетки. Какой-то прохожий схватил ее и удержал. Собралась небольшая толпа.

Я подошел тоже. «Пустите! — крикнула девушка, вырываясь. — Не мешайте мне умереть! Мне незачем жить!..»

Она быстро пошла из толпы по каналу. Несколько человек с любопытством следовали за ней. Я хотел подойти к ней, потрясенный. Она посмотрела на меня широко открытыми серыми глазами. О, этот бесконечный, бессознательный взгляд, в котором застыли страшная тоска и безнадежность, — я никогда его не забуду! Не успел я опомниться от этого жуткого взгляда, как она опять побежала. И, пробежав до спуска, бросилась в воду. Сразу, без борьбы пошла ко дну, и только на мгновение вздулась на поверхности ее белая нижняя юбка. Откуда-то выросла, сбежалась громадная толпа, жадно-любопытная и шумная. Все кричали о помощи и никто ничего не предпринимал. Стоял и я, как парализованный, сознающий свое бессилие. Бросали ненужные спасательные круги, шарили баграми; какой-то оборванный человек полез в мутную воду и, ныряя, искал. Через полчаса раздались крики: «Есть, есть!» Вытащили. Она была мертва. Пальцы ее скрючились, царапая грязное дно в последних судорогах, и все лицо было в черной грязи, похожее на страшную маску с открытыми, большими, стеклянными глазами. Это было ужасно. Когда ее тут же пробовали откачивать, — взметнулось ее мокрое платье и блеснули красивые белые-белые ноги в наивных чулочках и подвязках. Эти ноги, трогательно-чистые, почему-то тоскливо и упорно запомнились.

Через громадную толпу, окружившую утопленницу, протиснулся человек в сером костюме и котелке. Я его узнал. Он пробрался к девушке и сказал: «Я ее, кажется, знаю...» Лицо его оставалось хмурым и каменным. Потом ее увез-

ли. Человек в сером костюме поехал тоже за нею. Толпа медленно расходилась.

Я был потрясен виденным. Я шел в этот вечер к любимой женщине, и ненужной и далекой показалась мне наша любовь, наши живые ласки. Город казался мне большим склепом без выхода и света. И некуда было спрятаться от наступившей ночи. Я пошел в трактир и там одиноко пил, чтобы умертвить мучительную тоску и тревогу, наполнившие мое сердце...

Вася хмуро задумался.

— Да, ужасны эти незаметные драмы, каждую минуту разыгрывающиеся под беспечно сверкающим покровом петербургской жизни... Никто ничего не видит, не слышит, не замечает. Все это — ужасное в своей стыдливости — прячется в омуте огромной жизни. И только изредка на поверхность омута всплывает искаженное безумием и отчаянием лицо, и протягиваются судорожно беспомощные руки с мольбой о спасении. Жутко!

И вдруг, как бы в ответ на эти мысли (ах, многое в жизни похоже на чудесную случайность!) возле моста через Фонтанку, сейчас же против нашего окна, из черной пропасти молчащей реки раздался резкий, пронзительный крик, в котором были отчаянье, ужас и мольба о помощи. Кто-то хрипло, захлебываясь, кричал:

— Помогите!.. Тону!..

Мы, пораженные, вздрогнули и быстро побежали вниз к Фонтанке. Там уже собиралась и суежилась толпа.

— Человек бросился с моста, — сообщал кто-то, задыхаясь. — Вон, под мостом барахтается...

Мы смотрели напряженно в воду. Там было только черно. Изредка оттуда долетал хриплый крик о помощи.

— Вон, вон! Видите, вон голова... — кричали в толпе и показывали на воду.

— Пароход, остановись! — махали издали идущему пароходу.

В темноте ночи нарастало томительно-жуткое ожидание.

— Бросайте круг! В эту сторону! — кричали с баржи, стоящей у берега. — Хватай, хватай! Круг брошен! Эй, подай лодку!..

— Схватил... — раздался из воды глухой, обессиленный голос.

— Ну, теперь держись! Тащи, ребята! — кричали на барже.

Веревку, прикрепленную к кругу, зацепили за выступ руля и стали тянуть. Вскоре недалеко от берега у баржи, скорчившийся, судорожно схватившийся за веревку и круг, показался человек. Толпа бросилась с моста к берегу и стала всматриваться. При слабом свете панельных фонарей виден был повисший за веревку худой, мокрый человек со слипшимися волосами, в грязной, рваной рубашке. В толпе, ждавшей эффектного, драматического зрелища, пронесся ропот разочарования. Человек висел у борта баржи и громко дрожал.

— Э-ва, какой!.. — сказал кто-то.

— Что, братец, холодно? Неприятно теперь купаться? — острили с берега.

На барже почему-то возились и не вытаскивали человека.

— Верно, пьян был. Вот и свалился... — сказала вдруг злобно какая-то поддевка, уходя от толпы.

— Да, пьян!.. Скажи ты на милость!.. — раздался из воды обиженный, дрожащий голос. — Посидел бы тутотка сам!..

В толпе засмеялись.

— Ишь, какой! В воде, а рассуждает. Чудно!

— Ну, что же, робя, — тащи. Эй, ты! Держись там! — крикнули с баржи.

Веревку передали на берег и стали тащить. Человек держался за веревку и круг и медленно поднимался по высокой, шершавой стене каменной набережной.

— Ой, братцы, всю спину ободрали, — стонал он. — Ой, ой!.. Та-та-та... Вот, наконец... Ух, слава тебе Господи!

Он стоял на набережной в толпе и крестился. Вид у него был чрезвычайно жалкий и смешной. С мокрой рубахи и худых ног, одетых в рваные брюки, сочилась вода. Оказалось, что в одной руке у него шапка, с которой он почему-то не расстался, когда тонул. В толпе смеялись.

— Шапку-то ты зачем с собой взял?

Человек посмотрел на шапку и удивился: в самом деле, — зачем ему была нужна шапка?

— Ты зачем бросался? — строго спрашивал городской.

— Жизнь, братцы, надоела... немоготу, тошно... Опять же, — работы нет...

— Эх, ты! — сказал кто-то укоризненно. — Пошел на самоубийство, — а сам кричит: «Помогите!..» Голова!

— Страшно, братцы, стало... Сперва этта вода, — холодом, значит, обожгло... Опять же — чернота...

Человек разводил руками и с виноватым равнодушием смотрел на толпу.

— Ну, нечего тут распространяться, — сказал внушительно городской. — Садись и поезжай! Там те покажут, как жизни себя решать... Петр! — крикнул он дворнику. — Вези его. Ну, не дрожи — садись! Там разберут.

Мокрый и жалкий человек послушно сел в пролетку и, аккуратно нахлобучив шапку — даже поправил ее спереди, — поехал с дворником в темноту улицы, усеянную тусклыми огнями фонарей.

Мы с Васей пошли домой. Было и тоскливо и смешно.

— Все в жизни смешно и грустно, — сказал Вася. — Водевиль превращается в трагедию, трагедия кончается водевилем. Ну, разве не смешно: человек, только что собравшийся умереть, заботится о том, чтоб аккуратнее одеть шапку. А эта спокойная безучастность к тому, что он остался жить!..

Мы уже вошли в комнату, где было тепло и уютно и ярко горело электричество. На столе шипел самовар и пахло свежими булками.

Дмитрий Цензор

СЧАСТЛИВАЯ ВЕРЕВКА

Илл. В. Сварога

Джемсу присудили виселицу.

Казнь была назначена утром на Мертвой площадке за арсеналами, где, обыкновенно, в этом старом приморском городке вешали убийц и разбойников. Джемс умирал, как опасный бродяга и злодей, для которого у судей не могло быть снисхождения.

В связи с историей, разыгравшейся в день казни на Мертвой Площадке, и дальнейшими событиями, — следует заметить про Джемса, что он, поистине, был несчастнейшим человеком в стране. Как выяснилось на суде, Джемса, чуть ли не со дня его появления на свет Божий, преследовали удары судьбы и несчастья. Он провел жизнь, полную обид, гонений, нищеты и мелких преступлений; причем больше полжизни он сидел по тюрьмам. Одинокое скитание привели его, обезображенного и голодного, в этот город, где он был арестован, когда, действительно, совершил ужасное преступление: он однажды ночью забрался к старой толстой лавочнице, чтобы что-нибудь украсть. Но когда лавочница, проснувшись (он не рассчитывал, что она будет здесь), подняла отчаянный крик, бедняга в страхе несколько раз ткнул ей в живот ножом, и она с хрипом испустила дух.

Спасти ему не удалось. Сбежались на крик соседи, застали его, дрожащего, в комнате лавочницы, и он покорно отдался полиции.

Это убийство потрясло весь город. Старожилы говорили, что не запомнят ничего подобного. Несчастного Джемса приговорили к виселице.

В день казни на Мертвой Площадке собрался весь город. Здесь очень давно никого не казнили, и зрелище обещало быть исключительным.

Все возвышения, выступы окон, крыши расположенных вокруг площади домов пестрели любопытным народом. Уважаемые и богатые граждане были допущены ближе — им были предоставлены почетные места, и эта часть публики пестрела нарядами и дамскими шляпами. В толпе переливался глухой говор, о разбойнике рассказывались ужасные истории, ему приписывались невероятнейшие преступления.

Полицейские оттесняли толпу на значительное расстояние от виселицы, которая наивно темнела на ясном утреннем небе своими незатейливыми очертаниями. Сверху, с перекладки, еле заметно спускалась серая веревка, оканчивающаяся петлей. Под виселицей находился невысокий деревянный помост, ничем не прикрытый, и в стороне стояла простая скамейка.

Вдали послышались глухие удары барабана. Толпа зашевелилась и загудела. К виселице подошла рота солдат и выстроилась около с ружьями на плечах. Потом к помосту подошли еще люди. Один из них был высокий человек в сюртуке и твердой шляпе, у него была длинная смешная шея и длинное лицо с большим, красным носом и большими бровями.

— Рис, Рис, — зашептали в толпе. — Он будет вешать.

Остальные были, — судебные чины, рыхлый доктор и священник в черной сутане.

Гул барабана все приближался и, наконец, по дороге из-за арсеналов показались солдаты, ведущие Джемса. Впереди шли два барабанщика и отбивали траурную дробь. Затем брел Джемс под охраной двух конвойных. Руки у него были скованы за спиной. Он шел в своем арестантском платье, бледный, понурый и безучастный.

В толпе пронесся гул ярости и злорадства.

— Разбойник! Убийца! Будь проклят!

Пожилые женщины протягивали кулаки по направлению к Джемсу, и дети, держась за руки взрослых, с жестоким любопытством тянулись, чтобы взглянуть на него. Он пугливо оглянулся на крики, и глаза его жалко забегали, ему показалось, что толпа сейчас бросится на него.

Когда дошли до помоста, и солдаты расступились по сторонам, — Джемс посмотрел перед собой на виселицу с удивлением. Он словно не понимал чего-то. Около читали какую-то бумагу, что-то говорили кругом. К нему подошел священник и стал шептать последнее напутствие. Джемс рассеянно слушал и смутно видел перед собой площадь, покрытую громадной толпой. Сознание его стало ленивым, бессильным, неподвижным.

Высокий человек с красным носом подошел к нему, тронул его за плечо, и Джемс вскинул на палача тусклые покорные глаза.

— Ну, готово. Пожалуй, приятель, пора...

Он властно повернул Джемса за плечо и настойчиво подтолкнул его к помосту. Внезапное, острое сознание пронзило мозг Джемса и вонзилось где-то сзади, в затылок. Он сказал упавшим, сухим голосом:

— Уже?..

Рис направлял его твердой рукой на ступеньки, и Джемс безвольно всходил по ним. Вдруг мертвящий, неодолимый ужас охватил его. Он крикнул и сделал попытку вырваться.

Все кругом дрогнули, солдаты насторожились и взялись за ружья, по всей площади загудел и вырос жуткий рев толпы, потрясающей кулаками и палками.

Этот зловеющий рев как бы придавил Джемса, и он поник. Сильная рука палача ввела его на помост и поставила под виселицу. Джемс ослабел, покорился, почувствовал себя маленьким, больным, беспомощным ребенком. Рис и его помощник готовили белый мешок и прилаживали скамейку.

Джемс мутным взглядом посмотрел перед собой, на пеструю толпу, на голубое небо и белые облака, на далекие клубы дыма, выходящего из жилищ. И вдруг ему до безмерной боли стал дорог этот большой и прекрасный мир, где он перенес столько мучений. Как будто в первый раз увидел его и почувствовал. И сердце его переполнилось великой любовью и жалостью ко всему. На щеку у него выкатилась большая слеза и затекла ему в рот. Он почувствовал ее соленый вкус и вспомнил, как очень давно, когда он был совсем маленьким, его целовала умирающая в больнице мать и ее слезы попадали ему в рот.

Рис в это время расстегнул ему воротник и сурово сказал:

— Встань на скамейку.

Джемс машинально встал на нее. Тогда ему быстро накинули на голову мешок, быстро одели на шею петлю и вы-

шибли из-под ног скамейку. Он завертелся на веревке, и его ноги стали выделять движения, как будто топтались на одном месте. Потом он вытянулся и затих.

Ропот облегчения прошел по напряженной толпе. У всех полегчало на душе, многие обтирали с лица пот. Джемс висел некоторое время неподвижно. Доктор со странным выражением на рыхлом лице коротко сказал, глядя на землю:

— *Готово.*

Тогда Джемса быстро вынули из петли, торопливо уложили в приготовленный деревянный ящик, и увезли.

Солдаты глухим шагом разошлись от места казни, ушли доктор, священник и судебные чины. Полицейские некоторое время еще сдерживали толпу, потом стали расходиться и они. Один высокий, красноносый Рис что-то еще возился у виселицы и не уходил.

Вдруг в толпе произошло сильное движение. Публика хлынула к эшафоту. Полицейские, вздумавшие было удерживать натиск народа, были стерты и смяты.

Впереди всех были нарядные женщины и мужчины, сзади напирала черная толпа. Все окружили помост. Жадные руки в изящных перчатках тянулись к виселице и над толпой стояли крики:

— Вережку! Кусочек веревки от повешенного! Маленький кусочек счастливой веревки! Она всегда приносит счастье!..

Толпа, возбужденная и жадная, наступала на помост и протягивала руки за веревкой. Послышались вопли и стоны придавленных в толпе женщин и детей. Многие дрались и царапались, чтобы протиснуться вперед. У дам съехали шляпы и сбились прически.

— Такой редкий случай! Кусочек веревки для счастья! — обезумев, кричали они.

В это время ошеломленный Рис, вдруг что-то сообразив, взбежал на помост, вскочил на скамейку и ухватился за веревку. Он стоял над толпой и был похож на воинственного Дон-Кихота со своей длинной шеей, большим красным носом, густыми бровями и поднятой кверху рукой.



— Э, нет! — закричал он. — Что вы вздумали? Никакой вам веревки не будет! Я, кажется, имею маленькое право на эту веревку... Во всяком случае, большее право, чем кто-либо!

Его грубый голос покрывал шум толпы, и она на минуту затихла. Рис вынул ножик, отрезал веревку у самого основания и свернул ее.

— Пусть она мне приносит счастье, — грубо расхохотался он и хотел сойти с помоста.

— Рис, кусочек, ради Бога! Рис, умоляю вас! — кричали вокруг, и толпа снова стала наступать.

— Это несправедливо, вы должны дать немного и другим, вы не имеете права забирать всю веревку, она всем принадлежит одинаково! — угрожающе кричали другие.

Рис, пожимая плечами, поднял над толпой руку с веревкой.

— Господа! — крикнул он. — Ну хорошо, если вы уж так хотите иметь кусочек веревки на счастье... Пусть будет польза и вам, и мне. Вы можете у меня купить... Я вам, пожалуй, продам по кусочку...

Как только Рис замолчал, произошло нечто чудовищное. Сотни рук протянулись к нему с золотыми и серебряными монетами, богатые женщины не жалели денег, чтобы получить счастливый талисман. Обезумевшая толпа напирала, давила и кричала, протягивая руки с деньгами. Рис едва успевал отрезать от веревки по маленькому кусочку и забирать деньги. Счастливы, которым удалось получить, радостно и торжествуя старались протискаться обратно и не могли. К ним неслись враждебные и угрожающие крики бедных горожан:

— Богатым всегда везет! Конечно, где же бедняку достать немного счастья! Богачи все отнимут, им все достается!..

Самого Риса толпа стиснула со всех сторон и давила. Он, задыхаясь, кричал:

— Потише, черт возьми! Будьте благоразумны, не могу же я всех сделать счастливыми...

Вперед с большими усилиями протискался высокий, крепкий человек с розовым лицом и круглой черной бородой. Это был богатый купец, известный городу, часто приезжавший сюда по своим торговым делам. Он крикнул:

— Постой, Рис! Я покупаю всю веревку. Бери деньги. Всю веревку, сколько осталось, я покупаю.

Он сунул Рису кошелек, туго набитый деньгами, и Рис, просяя, отдал ему веревку.

Купец, довольный покупкой, старался выбраться из толпы, на него смотрели со злобой и завистью, а задняя, ничего не соображающая толпа продолжала отчаянно наступать.

Кое-как выбравшись на край площадки, Рис почувствовал, как тяжелы его карманы, и сказал вслух, весело улыбаясь:

— Славное дельце я сделал! Однако, этот несчастный бродяга Джеймс принес мне счастье...

Мертвая Площадка опустела, и виселица осталась одна, рисуясь наивным четырехугольником на голубом небе.

В этот же вечер купец, так удачно откупивший у Риса длинную счастливую веревку, покончив дела, уезжал верхом на своей лошади в городок, расположенный по ту сторону гор. Ночью он был уже далеко и проезжал по глухой, скалистой местности, покрытой густыми лесами. За одним обрывистым поворотом из тьмы черных деревьев на дорогу вдруг вышли несколько человек. Купец тревожно хлестнул по лошади, но неизвестные люди, одетые в оборванные, странные костюмы, быстро подскочили к нему. Купец выстрелил и один из нападающих упал со стоном. Бродяги схватили лошадь за узду, а другие ловко вцепились в купца — в его руку с револьвером.

— Слезай-ка с лошади! Да скорее! — орали бродяги. — Веди себя смирно. А то ни минуты не проживешь!

Они стащили купца с лошади. скрутили ему руки, отвели в сторону и бросили на землю. При слабом свете наступающего утра они обыскали его карманы, забрали все деньги и верхнее платье и вытащили из одного кармана длинную простую веревку. Бродяги громко расхохотались.

— Смотри-ка, купец позаботился и приготовил для себя веревку, — хохотали они, держась за бока. — Нуте-ка, отведем его подальше. Да беднягу Пипо нужно убрать с дороги.

Они подняли мертвого товарища, отнесли его в сторону и бросили в неглубокую расщелину. Один наклонился над расщелиной и сказал:

— Бедняга Пипо. Хороший был товарищ. Теперь ему с ящерицами да лягушками придется вести компанию.



Они отвели купца, полумертвого от страха, в чащу, лошадь его привязали к дереву. Потом приладили найденную у него веревку к толстому суку и повесили купца, не смотря на его отчаянные мольбы.

— Это тебе за Пипо! Виси, голубчик, на своей же веревке...

Они улыбались, а купец висел в одном белье, вытянувшийся, с посинелым лицом. Бродяги уселись тут же, в стороне, и принялись за дележ. Они ругались и кричали и, когда стало совсем светло, поспешили оставить это место, захватив с собой лошадь.

Когда они уходили, один разбойник обернулся и, глядя между деревьев на висячий труп, сказал:

— Ребята, а знаете ли вы, что веревка повешенного приносит счастье? Не захватить ли нам ее для удачи?..

Они вернулись, вынули труп купца из петли и бросили его в лесу. Веревку они забрали с собой и скрылись, довольные своей удачей.

Через некоторое время бродяги были переловлены и повешены.

Действительное же счастье веревка принесла только одному — палачу Рису, который казнил несчастного Джемса.

Дмитрий Цензор

КОШМАР

Илл. Н. Герардова

Околоточный надзиратель Кулишенко, проснувшись, почувствовал боль в затылке: что-то постороннее и холодное лежало под черепом. На улице серело и хмурилось ненастье, сумрак прятался по углам в тусклой комнате. Кулишенко умывался, и от холодной воды болела кожа лица и шеи. Он оделся, с тоской посмотрел в окно на мокрый двор и, вспоминая смутные обрывки какого-то нелепого и тревожного сна, пошел в управление участка.

Никогда еще не казалась ему такой ненужной и тяжелой вся его служба. Он с отвращением снова увидел скучные стены, столы в чернильных пятнах, с разложенными аккуратно бумагами, пол, стертый от грубых полицейских сапогов.

— Что это вы сегодня?.. Вид у вас нехороший... — сказал на рапорте пристав, просматривая протоколы и бегло взглядывая на бесцветное, с подстриженными усами, лицо Кулишенко.

— Нездоровится что-то, без причины, — ответил Кулишенко и потупился. — Ничего, пройдет... Вот, как прикажете поступить? Вчера привели... Удивительный субъект. Не называет себя и прикидывается чудаком.

Пристав прочел протокол и поджал губу.

— Допросите его хорошенько сначала, а потом мне доложите.

Кулишенко прошел в дежурную комнату и попросил чаю. Знобило, руки были тяжелы, как свинцовые. И пока он пил теплый чай, ненужные и буднично-тоскливые мысли лезли в голову, обнимали сердце неприветливым холодом.

— Кривень, приведи вчерашнего, — крикнул он в дверь городовому.

Он вспомнил об этом субъекте, и ему стало не по себе, как вчера, во время допроса. Стал смотреть в запотелое окно, беспредметно вздыхая.

В комнату, подталкиваемый огромной рукой городского Кривеня, вошел маленький невзрачный человек, запахиваясь в обветшалый пиджак. Большая, не по тщедушному туловищу, голова, огромный шишковатый лоб, редкие, всклокоченные волосы, сероватая борода, большие вос-

паленные глаза и детские, трогательно красивые губы на этом безобразном полубезумном лице. Войдя, он сделал смешной реверанс и сказал тонким голосом:

— С добрым утром, о, повелитель! В твоих руках, величественный, жизнь и смерть преследуемого раба.

— Извольте сказать, зачем вы были в спальней у господ Ментоловых и как вы туда пробрались? — спросил Кулишенко, сурово хмурясь и не глядя на вошедших. — А также извольте назвать имя, фамилию и звание... Напрасно вы скрываете — это не поможет вам.

— О, повелитель, меня зовут «Мышь», я уже сказал тебе, справедливейший. По норам и щелям жизни прячусь я, и все же попаду на зуб. Такова участь мыши...

Он запахнулся в пиджак и засмеялся тихим, болезненным смехом. Кулишенко неприятно передернуло.

— Вы притворяетесь сумасшедшим, однако я вижу, что вы не сумасшедший... Отвечайте, зачем вы были в спальней? Господин Ментолов не знает вас, вы, следовательно, тайно пробрались к нему в спальню с преступной целью. Вы хотели обокрасть его, убить, — у вас, может быть, к нему давняя вражда? Советую вам сознаться, вам же лучше будет.

— Дать ему хорошего, — медленно и мрачно проворчал городской.

— Молчи, Кривень, — сказал Кулишенко резко. Он испытывал тревожную неловкость. Арестованный как будто посмеивался над ним, он не был похож на других, с которыми постоянно приходилось иметь дело. Кулишенко не мог прямо смотреть в его страдальчески-воспаленные глаза. Вот, необходимо допросить до конца этого странного человека и провести все по форме. Тоска. Шел бы ты, несчастный, своей дорогой, какое мне до тебя дело?

— Так как же? — спрашивал Кулишенко и рассеянно застучал карандашом о стол.

Неизвестный тихо улыбнулся.

— О, это был злой замысел. Но, клянусь, — ни красть, ни убивать я не хотел. Да, я люблю этих кошек, называемых людьми. Мне знакомы их бархатные лапки, острые когти и

оскаленные хищные зубы... Маленькая мышь не может бороться с ловкими бархатными хищниками. Она спасает, как может, свой жалкий хвостик и прячется в подполье. Сторонкой, по канавам, в щели, в мусор... Ха-ха-ха! Сердце мыши окровавлено... Сердце мыши растерзано!

Кулишенко поднял голову. Лицо у человека было искаженное и страшное. Из глаз его покатались слезы. Сердце Кулишенко внезапно заныло. Было невыносимо продолжать допрос.

— Так вы ни в чем не сознаетесь? — спросил он упавшим голосом. — Но ведь были же вы ночью в спальне у Менделовых? Зачем?

Арестованный улыбался хитро, про себя.

— Это было бы очень удачно... Для этого стоило потерпеть. Представь, повелитель, — при лампаде, проснувшись от любовных объятий... Ха-ха-ха! В углу у туалета! Посиневшее лицо и язык... Открытые мертвые глаза, бледные глаза алкоголика, устремленные в потолок, и ее глаза — прекрасные, безмерно широкие от ужаса, ее белые нагие руки, отчаянно простертые, отстраняющие смертельное видение... О-о! Как страшно и величественно!

Он напряженно вытянул руки и лицо его выражало безумный ужас.

«Сумасшедший», — уверенно подумал Кулишенко, и ему стало холодно. Он ничего не понял из дикого бреда, но сердце было уязвлено каким-то необъяснимым сознанием. Боль в затылке усилилась. Встал, и от движения заболели все члены. Он сказал городовому:

— Уведите его обратно. А я доложу приставу.

Арестованный больше ничего не говорил. Он погас, поник и покорно вышел с городовым. Кулишенко вздохнул, как будто освободился от гнетущей тяжести.

— Эх, люди, — сказал он тихо, сам не зная, — жалеет или осуждает. Он подумал о том, что следует как можно скорее бросить эту службу и поступить на какое-нибудь другое место, — в департамент какой-нибудь, что ли, или просто по коммерческой части. Ведь у него есть аттестат средне-учебного заведения. Случайные обстоятельства заставили

его нести эту тоскливую службу. А сердце всегда тянулось к простым и теплым отношениям с людьми.

Он доложил приставу о допросе, и тот, выслушав, сказал:

— Придется самому этим заняться. Должно быть, притворяется, мерзавец. Кулишенко, у вас ужасный вид. Если вы больны, идите домой.

Его, действительно, знобило. Он все же дождался конца присутствия и совершенно разбитый пошел домой в сыроватую, одинокую, неуклюжую комнату, и там серая печаль властно обняла его душу.

На вечернее дежурство он не пошел, принял аспирина и улегся в постель. Его сильно лихорадило, он впал в забытие, и уродливые видения наполнили сон. Маленький человек, с огромной головой и безумной усмешкой на лице, наступал, и когда Кулишенко в страхе замахивался пашкой, человечек мгновенно превращался в крошечное уродливое существо, похожее на мышь, и прятался в темный угол за стол, и от этого холод проходил по коже.

Кулишенко вдруг очнулся от страшного треска и сел на постели. Он тяжелыми, наболевшими глазами обвел комнату, тускло освещенную керосиновой лампой. Тоска и одиночество присосались к его сердцу. В комнате было безнадёжно тихо. Треск повторился за ширмами, где-то в углу комнаты. Кулишенко вздрогнул, не понимая, в чем дело, и через несколько мгновений сообразил, что в углу громко скребется мышь. Он замер на постели, поджав под себя ноги. У него была необъяснимая, доходящая до болезненного боязнь мышей. Ему пришлось много в жизни перенести и встречать много опасностей, но никогда он не испытывал такого страха, как при виде мыши.

Он долго с дрожью прислушивался к противному треску, — мышь как будто ломала и дробила сухой трескучий предмет. Кулишенко боялся лечь, он прислушивался и думал:

«Откуда это? Здесь не было мышей». Треск затих, и Кулишенко настороженно ждал в наступившей глухой тишине. Вдруг оттуда, где раздавался треск, послышалось тихое и тонкое ворчание.



Холодея, Кулишенко встал с постели и, осторожно выйдя из-за ширм, заглянул в слабо освещенный угол. Он чуть не упал от страха. В углу, на трубе от парового отопления, сидела огромная мышь и смотрела на него черными блестящими глазами. У нее была серая спина, рыжее, пушистое брюхо и свиная мордочка. Она сидела неподвижно,

тихо мурлыкала и жалобно смотрела на Кулишенко.

— Ш-ш-ш... — погнал он ее, но она не тронулась с места.



Тогда он, дрожа всем телом, пошел взять какой-нибудь предмет, чтобы бросить в мышь. Он слышал позади тихое и тонкое ворчанье. Вернулся с чугунной пепельницей. Но когда взглянул на трубу, там уже не было мыши. Совсем разбитый, лег он обратно в постель, и болезненное забытие туманило его сознание. Несколько раз в эту ночь он просыпался и расширенными, напряженными глазами всматривался в темный угол.

Он проснулся поздно, с тяжелой головой и ломотой во всем теле. Тоска и затерянность сразу наполнили его, как только он увидел свою комнату. Преодолевая слабость, он

оделся и пошел на службу. Дома невыносимо было оставаться, и он даже задумался, почему так осиротела его комната?

— Ваше благородие — прискорбный случай, — доложил городской Кривень, как только Кулишенко вошел в управление участка.

Сердце у него дрогнуло и сжалось.

— Этот самый, который «мышь»... повесился...

Кулишенко тупо смотрел в лицо городовому. Ноги у него заныли и ослабели.

— Как же это? — спросил он упавшим голосом.

— Ночью, когда все спали — известно, там больше, которые пьяные, — ну, он рубашку порвал, скрутил жгут и на решетку привязал. Арестованные крик такой подняли.

— Ах ты, Боже мой! — сказал Кулишенко и озабоченно, глубоко задумался. Он медленно пошел в комнату к приставу. Тот был хмур и зол и, не глядя на Кулишенко, резко сказал:

— Нужно произвести строгое дознание. Черт знает, какая дикая история...

Весь день прошел, как тяжелый бред. Страшной маской смотрело на него синее лицо мертвеца с выпученными глазами и слипшимися от последнего пота волосами. Это было самое страшное из всех мертвых лиц, которые он видел за свою жизнь.

Вечером он с отупевшей головой и воспаленными глазами упал, не раздеваясь, в постель и тотчас забылся кошмарным, давящим сном. В этом сне не было никаких видений, только невыносимая больная тоска, помимо сознания, владела его испуганной душой и, как огромный холм, давила грудь. Он с мучительными усилиями двигался во сне на постели, стараясь свалить с груди эту тяжесть. Но тяжесть росла — вот-вот она его раздавит, распластает, как муху.

Посреди ночи он внезапно сел на постели и прислушался. В доме царила глухая, безнадежная тишина, и странно было, — почему так мертво молчит этот огромный населенный дом. Кулишенко встал и на цыпочках, с напряженным вниманием в лице, вышел из-за ширм и заглянул в

смутно освещенный угол. Лампа коптила, но он не поправил ее. Подошел близко к углу и, нагнувшись, посмотрел пристально. Там, на трубе от парового отопления, сидела та же огромная мышь с серой спинкой и рыжим брюшком и смотрела на Кулишенко черными и как будто насмешливыми глазами.

— А-а! — протянул он высоко и жалобно, — ты уже здесь... Уходи, уходи, — что тебе нужно от меня!

Он махал на нее рукой, но мышь не трогалась с места. Он притянул от окна край старой гардины и стал ею хлестать мышь, но она только жмурилась и слегка отстранялась, не покидая места. Она стала тихо и жалобно ворчать, как будто жаловалась на жестокую и несправедливую обиду. Кулишенко охватил невыразимый ужас.

Он убежал к постели и зарылся головой в подушку. Через некоторое время он опять осторожно заглянул в угол дико расширенными глазами. Мышь неподвижно сидела на прежнем месте и жалобно смотрела на него.

— А, ты не ушла, — сказал Кулишенко и хитро улыбнулся. — Вот погоди же, сейчас узнаешь...

Он вынул пашку и, зажмурив глаза, стал рубить по всем направлениям. Он долго махал пашкой в злом упоении и почувствовал страшную усталость. Опустил руки и посмотрел в угол. Мышь неподвижно сидела на трубе, как ни в чем не бывало, только ее свиная мордочка была в крови.

Кулишенко уронил пашку и долго смотрел на мышь с выражением отчаяния и тоски. Он сказал тихо, сухими губами:

— Ты не уходишь... Что же тебе нужно? Вот, Богом клянусь, я не виноват... (он перекрестился). Я сам очень несчастный... Уйди, ну. Ведь я не могу больше переносить...

Но мышь не двигалась и только жалобно мурлыкала (это было очень страшно, что она мурлыкала, а не пицала) — и Кулишенко, беспомощно заплакав, опустился на стул. Из глаз его текли детские, жалобные слезы, и он не утирал их. Сквозь туман, заволакивавший глаза, видел, что мышь смотрит на него с участием, и ее окровавленная мордочка странно шевелится. Протянул к ней ладонь, как собачке, кото-



рую хотят приласкать, но боятся, чтобы она не укусила.

— Бедная ты, — сказал он сквозь слезы. — Зачем ты приходишь ко мне? Разве я виноват? Кто же виноват? Прости меня! Прости, и пусть тебя успокоит Господь...

Слезы его текли без конца, и долго он говорил с мышью, жалостно и беспомощно, умоляя о прощении, и сердце его терзалось невыносимой жалостью и печалью.

Мышь оставила трубу и странными, короткими, неровными движениями подбиралась к нему все ближе, глядя на него черными, блестящими глазками.

От копящей лампы был в комнате удушливый чад, дымный сумрак глядел из углов, с потолка, шел от каждого предмета, ставшего незнакомым и враждебным. И теперь страшнее всего было молчание, хмурое и тяжелое, навалившееся на весь дом, на голову и на грудь Кулишенко. Он все говорил тихо и жалобно, прижимая руки к груди, а мышь сидела совсем близко перед ним и слушала, шевеля ушами и окровавленной мордочкой, — сверкая черными, мигающими глазками.

В таком положении нашли Кулишенко утром и взяли его в больницу. В черной от копоти комнате сидел он, одетый, перед пустым углом и тихо говорил жалобные, бессвязные слова.

Дмитрий Цензор

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПРИЗРАК



— Вы все знаете мою жену — Глафиру Алексеевну, играющую теперь в К.? Так послушайте, какая с ней странная история приключилась.

Труппа у нас — надо нам сказать — составила пресимпатичная. Талантами не изобиловала, но ребята были теплые и жили дружно. И занесло нас в тот сезон Бог знает куда — в провинциальный городок N-ск, где имеется всего одна настоящая улица, на этой улице тощий сад, а в саду театр, похожий на торговый амбар. Интеллигенции мало, по ночам темно, многие улицы немощеные. Хорошо только за городом, где ширь этакая снежная; да в нескольких верстах от города сохранились дворянские усадьбы — старые, романтические.

Я с женой поселился на самом краю городка, в старинном, почти развалившемся доме. Глафира Алексеевна большая фантазерка и мечтательница; понравились ей какие-то там кривые коленки, комнаты с облупившимися стенами, со следами своеобразной старинной роскоши. Хозяйка, совсем дряхлая старуха, уступила нам помещение за бесценок. А главное, что соблазнило нас поселиться тут, как я сказал, была таинственность дома и следующая история о нем, которую Глафира Алексеевна с большим вниманием

выслушала от болтливого старичка-дворника, когда мы пришли нанимать квартиру.

Много лет назад из столицы приехал владелец этого дома, богатый, красивый барин. До него здесь жила только вдовья тетка, которой теперь дом и принадлежит. Вместе с собой барин привез молодую женщину, заперся с нею в доме и никуда не показывался. Дни проходили за днями, толки по городу шли разные, говорили, что это жена, страстно любимая; увез он ее сюда после ее измены и мучает ревностью и любовью. Верного никто не знал. А в доме происходили странные вещи: по ночам часто слышны были стоны, опрокидывалась мебель; соседи подсматривали в глухо закрытые ставни, но разузнать ничего не могли. Иногда барыня в одном ночном платье выбегала в сад, — дождь ли, снег ли был, — а барин за ней, и уводил ее обратно в дом. О ее красоте прямо сказки рассказывали в городе.

Только прожила она в этом доме очень недолго. В один день узнали, что она умерла, и все в один голос говорили, что ее замучил муж. Барыню похоронили, а через несколько дней от неизвестной причины умер сам барин. С тех пор прошло много лет, в доме долгое время никто не жил; там стали твориться неладные вещи, и его считали проклятым. Но за последние годы в нем поселилась старуха, которой дом достался в наследство. О поддержке его никто не заботился, и он медленно разрушался.

Услыхав эту историю, жена пришла в восторг. Обошла весь дом, осмотрела все углы и закоулки, все ее удивляло и радовало.

— Очень, — говорит, — поэтично, как в таинственной повести... Хорошо бы, — говорит, — привидение встретить здесь ночью (верила она во всякую там чертовщину, в духов разных). Должно быть, интересная, — говорит, — натура был этот барин, сложная...

— А может быть, вы его дух встретите здесь, — говорю язвительно. — Познакомитесь тогда и поговорите по душе.

Она задумалась и отвечает:

— В этом нет ничего невероятного. Его дух, может быть, здесь, бродит по комнатам и возмущается, почему мы вторг-

лись в его владения.

Мне, конечно, смешно. А жена смотрит серьезными, задумчивыми глазами, — спиритка она была убежденная.

Ну, вот, живем мы в N-ске день за днем, ходим на репетиции и в театр, а иногда в свободные вечера собираемся у кого-нибудь из товарищей по труппе, чтоб выпить, поговорить, посмеяться. Никаких других развлечений в городе не было, единственный ресторанчик надоел, вот мы и предпочитали свободное от театра время проводить дома.

Собрались как-то у нас. Закусывали, выпили немного, думаем, — что бы изобрести такое, чем бы еще развлечься. Жена вдруг и предлагает:

— Господа, давайте заниматься спиритизмом, устроим сеанс... Наша квартира очень для этого подходит.

Все обрадовались и нашли предложение Глафиры Алексеевны весьма удачным. Она сама была возбуждена и хотела скорей приступить к сеансу, не предвидя, какие это нам впоследствии причинит неприятности. Достали круглый столик, поставили блюдечко, разложили бумагу с написанными буквами; потушив огонь, все уселись вокруг и соединили руки. Я уж не помню всех подробностей, мало я тогда интересовался спиритизмом и посмеивался над гостями. Они были очень серьезны и сердились на мое легкомыслие. Вторая героиня рассказывала, что дух Наполеона предсказал ей — где она будет играть в прошлом сезоне, и она, действительно, попала туда.

Наконец, настала торжественная тишина. За столиком взволнованно зашептали;

— Блюдечко движется, господа, пора вызвать духа...

Моя жена очень волновалась, она была страшно впечатлительна. Вызвали дух Шекспира, и комическая старуха произнесла торжественным голосом:

— Великий дух, скажи мне, попаду ли я на будущий сезон в Москву к Н. в труппу.

— Как вам, — говорю, — не стыдно беспокоить гениального Шекспира из-за таких пустяков? Неужели у него нет никаких дел, кроме вашего ангажемента в Москву? Удивительна манера у спиритических дам тревожить самых зна-

менитых духов из-за разного вздора. И как это духи не возмущаются бесконечными вызовами? Это бывает лестно только актерам.

Комическая старуха зашептала:

— Смотрите, смотрите, дух мне отвечает; видите, как блюдечко движется... Что оно говорит?...

Сложили буквы вышло: «Крчебу»...

— На тарабарском языке, — говорю, — дух-то изъясняется...

— Дух сердится, он не хочет отвечать на несерьезные вопросы, — решили все.

Вдруг Глафира говорит дрожащим голосом:

— Господа, я хочу вызвать умершего владельца этого дома. Вы слышали его историю? Пусть он нам расскажет о себе...

Голос ли у моей жены был такой нервный и взволнованный, обстановка ли стала действовать, — только я и многие из гостей почувствовали некоторую жуть. Наступило гробовое молчание. Жена внятно произнесла:

— Дух владельца этого дома, явись к нам, дай нам знак, Расскажи о себе, как ты жил и любил.

После этих слов тишина стала еще глубже и сгустилось жуткое настроение. Все сидели в темноте неподвижно. Кто-то сказал: «Не надо, это страшно...» И, представьте, — где-то в неопределенных местах, под полом, в стенах, на потолке раздаются несколько еле внятных стуков, неуловимых шорохов. Я ясно чувствую, как в комнате стало холоднее, как будто по ней прошло веяние ветра. Я подхожу в темноте к жене, она нервно дрожит, и меня самого охватывает дрожь. И вот мне кажется, что по комнате движется еле различимая фосфористая тень, колеблется над моей женой.

— Ты здесь, дух? — спрашивает жена трепетным, ослабевшим голосом. — Если ты здесь, назови свое имя... Господа, следите за блюдцем...

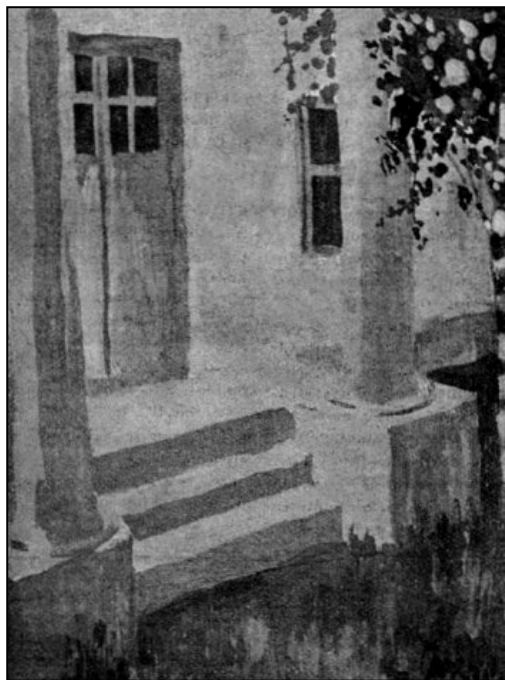
Складывают буквы и получается... «Андр...»

Проходит несколько секунд молчания. Жена хочет спросить еще что-то, она произносит начало слова и вдруг вскрикивает:

— Я не могу больше, не могу!.. Зажгите огонь!..

Она начинает смеяться и плакать, с ней делается форменная истерика, все — в том числе и я — находятся в смутном ужасе.

Зажгли огонь, все страхи и таинственные явления тотчас же исчезли. Но у Глафиры Алексеевны продолжался нервный припадок, и она в эту ночь была совсем больна.



Утром я узнал у дворника, что умершего барина звали Андрей. Когда жена услышала об этом, она еще больше прониклась мистическим настроением и говорила, что на сеансе ясно чувствовала прикосновение к ее лицу холодных воздушных рук.

С этой ночи в нашем доме стали твориться чудеса. Всюду появились необъяснимые стуки, шорохи, по ночам кто-то ходил в соседней комнате тихими шагами по скрипуче-

му полу. Без причины падали предметы, в шкафу позванивала посуда. На пыли зеркала мы заметили отпечаток чьих-то пальцев. Как будто весь дом наполнился невидимыми существами. Нам стало жутко по ночам, но я смеялся, я считал за стыд предаваться суеверному страху. А Глафира Алексеевна худела и бледнела так заметно, что я встревожился не на шутку. Под глазами у нее появились темные впадины, и стала она очень нервной и вялой.

Вторая героиня уверяла нас, что в этом доме, несомненно, живут духи, — может быть, не одно поколение духов, — и что нам всего лучше уехать из него; неизвестно еще, как духи к нам относятся и не захотят ли они мстить за что-нибудь. Все это казалось мне весьма глупым, но состояние здоровья жены меня сильно беспокоило, и мы решили переехать куда-нибудь на другое место.

Но в ту же ночь нам пришлось испытать настоящий страх. Комнаты положительно ожили. Мы не могли уснуть и всю ночь слушали стуки, раздававшиеся по всему дому. Без причины упал и разбился стакан, часы стали бить не в урочное время. Мы чувствовали над собой веянье, как будто нас обмахивали или над нами пролетали невидимые птицы. Дом наполнился жизнью ночных призраков, но что они хотели нам сказать, что выражали своей шумной тревогой? Жена прямо заявила, что хозяин этого дома не хочет, чтобы мы отсюда уехали, и она останется здесь.

Я подумал: «Все это простая случайность, которую мы наивно принимаем за игру тайных сил. Хорошо, мы останемся здесь». И как только мы решили остаться, стуки и шумы стихли. Сомнение и тревога овладели мной, как всяким человеком, сталкивающимся с миром вещей необъяснимых.

Однажды ночью просыпаюсь от холодной дрожи. Одежда сползло с меня. Слышу — жена на соседней постели тяжело дышит, мечется и слегка стонет. И, представьте себе, над ее кроватью различаю что-то такое воздушное и прозрачное, без определенных очертаний, какой-то еле светящийся туман. Тут меня охватил холод безотчетного страха, и я вскочил с постели. Жена продолжает тяжело метаться во

сне, в стекла окон хлещет ночная вьюга, темнота, жуть, — одним словом, — форменное дьявольское наваждение. Стараюсь зажечь лампу и шепчу: «Глафира, проснись, да что с тобой?» Осветил комнату — ничего особенного, — только холодновато. Жена с трудом просыпается, смотрит на меня диким взглядом, ничего не хочет сказать, а сама бледна, как смерть, дрожит, не может опомниться. Придя в себя, на мои упорные вопросы говорит следующее:

— Я тебе сознаюсь, со мной творится что-то невероятное. Представь себе, умерший владелец этого дома приходит ко мне каждую ночь. Он мучает меня, истомляет своими ласками, терзает меня в безумной страсти. Ах, зачем я вызывала его? Он полюбил меня, как свою замученную жену — этот ужасный дух...

Я решил, что жена заболела, послал за доктором, и он прописал ей потогонное средство. Но все-таки я был поражен и испуган. Кто знает? Может быть, и в самом деле не так уж смешны все эти спириты... На следующий день жена встала, по обыкновению, была на репетиции, играла вечером в спектакле. Я следил за ней с неописуемой тревогой. И тут заметил, что она стала неузнаваема; она худела и бледнела, таяла с каждым днем и была похожа на тень. Появились головокружения и какие-то обморочные припадки.

В этот день после спектакля жена торопилась уснуть поскорее. Как будто ее даже влекло к чему-то во сне. Я тоже лег, но не уснул, а стал тихо следить за спящей женой.

И вот, в темноте, прозрачной от незавешенных окон, различаю, что над женой начинает колебаться тот же туманный призрак, который, как показалось мне, — я видел накануне. В комнате повеяло холодом. Тень, еле уловимая, металась и наклонялась над женой, иногда совершенно сливаясь с ней. Я, дрожа, придвинулся к жене и следил. Она беспокойно заметалась на постели, раскинулась, вся как-то онемела, на лице и во всей фигуре появилось мучительно-блаженное выражение, какое бывает у женщин, когда их страстно ласкают. Грудь ее взволнованно подымалась, и с губ слетали тихие, чувственные стоны. Я дотронулся до ее

руки — она была горячая и томная. Больше я не мог выдержать. Я стал трясти ее за плечи и с большим трудом разбудил от она.

Это стало повторяться каждую ночь. Жена все время была как в бреду, как лунатик, и только ждала ночи. Она была настолько слаба, что перестала участвовать в спектаклях. Никому мы не говорили о причинах, — как рассказать трезвым людям о подобных вещах? Я был в отчаянии и положительно сходил с ума. Что делать, что предпринять? Я очень люблю Глафиру Алексеевну, и хотя смешно и странно ревновать к чему-то, так сказать, невесомому, — но все-таки спокойным и в этом смысле я не мог оставаться, не говоря уж об опасности, в которой находилось здоровье жены.

В самом деле, господа, войдите в мое тогдашнее положение: на моих глазах, в буквальном смысле, ужасный дух мучил и ласкал мою жену, я имел возможность наблюдать за мельчайшими подробностями этой невероятной любовной интриги. Измена — хотя и невольная — Глафиры причиняла мне нравственные муки, и я ничего не мог поделать, даже не имел возможности защитить свою честь. С кем бороться? Добро бы живой кто-нибудь. А то ведь дух, житель, так сказать, потустороннего мира, неуловимая тень, призрак, влюбившийся в мою жену...

Одним словом, все это могло окончиться очень печально. Нужно было что либо энергично предпринять. Я решил покинуть труп и увезти жену в Петербург полечиться.

Боже мой, что творилось в комнатах, когда мы собрались уехать!

В этом доме, должно быть, действительно жило целое общество духов, — не думаю, чтобы один дух мог наделать столько шума. Жена все время находилась в полубесчувственном состоянии, она ни за что не хотела уезжать.

В Петербурге доктора ничего не могли поделать, болезнь жены была им непонятна, и я смотрел на Глафиру, как на погибшую. Кто-то посоветовал обратиться к известному, теперь уже умершему, гипнотизеру Ф. Тот очень заинтересовался моей женой и стал лечить ее внушениями. И действительно, представьте себе, после многих сеансов, Глафиру

Алексеевну удалось спасти. Через полгода она выздоровела совсем и теперь, говорит, что, вероятно, все это мерещилось ее больным нервам. Она перестала интересоваться спиритизмом. Я же, наоборот, вспоминая всю эту дьявольщину, не могу смеяться, как прежде, над спиритами. Кто их знает, может они правы?...

Так вот, голуби мои, какая история... Вы, кажется, не верите мне, — да это и не важно. А только, скажу я вам, — всякие бывают случаи.

Владимир Ленский

СТРАШНАЯ КВАРТИРА

Илл. В. Волкова

Началось с того, что однажды осенью мы с женой решили переменить квартиру. Жили мы раньше в маленьких трех комнатах и чувствовали себя в них великолепно до тех пор, пока в конторе, где я служил, за мое добросовестное отношение к делу не увеличили мое жалованье почти вдвое. Тогда нам вдруг наше жилище показалось бедным, жалким и нам стало в нем тесно и душно. После долгих поисков мы набрали на квартиру, которая нам очень понравилась расположением комнат и отделкой. Там было четыре комнаты, довольно большие, светлые, высокие — кабинет, спальня, столовая и гостиная. Единственно, что резало глаза, это темные обои в спальне, сообщавшие ей немного мрачный характер... Но это было легко поправимо, — с течением времени эти обои можно было заменить другими, более веселыми...

Когда мы осматривали спальню — внимание жены привлек вбитый в одну стену крюк: она долго смотрела на него, не отрываясь — и я заметил, что ее глаза расширились и налились страхом, и вся она точно окаменела, как каменели когда-то люди от взгляда Медузы. Я удивленно спросил ее:

— Что с тобой, Мария?..

Дворник, молодой, безусый парень, как будто смутился и ответил, бегая по сторонам глазами:

— Прежние квартиранты, должно, тут лампу весили...

— У них никакого несчастья не было? — продолжала спрашивать Мария, все еще бледная и, видимо, чем-то сильно встревоженная. — Почему они выбрались отсюда?..

— Все живы и здоровы! — сказал дворник. — Не извольте сомневаться... А выехали потому, что барыня... того... уехали, стало быть, а барин, оставшись один, не захотел тут больше жить...

— Почему барыня уехала? — не унималась Мария. — Что у них случилось?..

Дворник был, видимо, в большом затруднении; он смущенно почесал в затылке и недоуменно пожал плечом:

— Кто их знает!.. Мы в дела квартирантов не мешаемся...

— Ну хорошо! — сказала Мария, как будто немного успокоившись. — Мы квартиру берем. Только крюк этот нужно вытащить. Он нам ни к чему. Слышишь?..

— Слушаю-с! — сказал дворник и прибавил в раздумье, глядя на крюк: — Это правда, что он ни к чему...

Когда мы вышли на улицу — я спросил Марию, почему ее так заинтересовал этот крюк. Она засмеялась и сказала, снова, как и в квартире, зябко поводя плечами:

— Пустяки!.. Ты же знаешь, какая я сумасшедшая. Мне померещилась какая-то чепуха!..

Дома, однако, она вдруг решительно заявила мне:

— Мы не возьмем эту квартиру!..

— Почему? — удивился я. — Ведь я дал задаток!..

— Я не хочу! Не хочу!.. — вдруг закричала Мария, впадая в истерику. — Мне страшно!.. Я боюсь!..

Она разрыдалась, — и сколько я ни допытывался — что ее пугает в этой квартире, — она не хотела объяснить и только повторяла:

— Я не могу!.. Это ужасно!..

Такие припадки истерии у нее для меня давно уже не были новостью. Я знал, что противоречием тут ничего не возьмешь — и смирился, покорно уступив:

— Хорошо, мы завтра будем искать другую квартиру...

Мария скоро успокоилась и повеселела; она просила у меня прощения за свой припадок, ссылаясь на усталость и расстроенные квартирным вопросом нервы. Ложась спать, она сама смеялась над своим беспричинным страхом.

— Не стоит, чтобы из-за какой-то глупой фантазии пропадали задатки! — сказала она серьезно. — Да и жалко терять хорошую квартиру. Мы завтра же переберемся туда!..

Мы долго не могли заснуть, мысленно устраивая наше новое гнездо, расставляя мебель и споря друг с другом. Когда мы дошли до платяного шкафа и стали подыскивать ему место — Мария, подумав, сказала:

— Мы его поставим там, где...

Она запнулась, ее глаза вдруг широко раскрылись и лицо покрылось мертвенной бледностью. Она с трудом произнесла дрогнувшими губами:

— Уже поздно... Будем спать...

Она повернулась ко мне спиной и затихла...

Через несколько минут она уже опять была около меня, прижималась ко мне и, ласкаясь, говорила:

— Миленький, не сердись, но я не могу... переехать в эту квартиру... Давай завтра поищем другую?..

Я боялся нового припадка истерики и тотчас же согласился. Мария облегченно вздохнула и, прикорнув около меня, спокойно и сладко заснула...

Утром, однако, она отказалась от своего решения искать другую квартиру и принялась укладываться к переезду. Я попробовал было заикнуться о ее вчерашнем страхе, — но она засмеялась, сказав:

— Не обращай на меня внимания! Я, вероятно, скоро попаду в сумасшедший дом!..

К вечеру мы уже были со всеми нашими вещами в новой квартире. Жена пришла туда только к семи часам, следуя за последним возом с мебелью. Она прошла по всем комнатам, загромажденным беспорядочно наставленной мебелью и сундуками и вдруг выбежала из спальни с бледным, искаженным страхом и гневом лицом.

— Дворник! — закричала она истерическим голосом. — Почему крюк не вынут?..

Молодой дворник, только внесший огромный сундук и тяжело дышавший, виновато потупился.

— Невозможно, барыня! — сказал он. — Крепко сидит!..

— Тогда вбейте его до конца! — приказала Мария, топнув ногой. — Я не могу!.. Это ужасно!..

Она вся дрожала, губы ее прыгали, лицо было бело, как стена. Меня удивило то, что и дворник был бледен, и у него тоже дрожали губы. «Вероятно, Мария действует на него своей нервностью, — подумал я, — она внушила ему свой страх к этому крюку!..».

Пока мы наскоро расставляли мебель, чтобы устроить себе ночлег — дворник возился около крюка, заколачивая его огромным молотом. От его могучих ударов содрогались стены, звенели стекла в окнах, дрожала вся квартира; из молота и крюка летели искры, по лицу парня ручьями

струился пот, — но крюк не поддавался, только немного свернулся на сторону и загнутый конец его еще больше закрутился, образовав почти глухое кольцо.



— Камень! — сказал наконец дворник, опуская молот и сконфуженно почесывая затылок. — Не идет!..
Мария опять заволновалась.

— Я завтра же брошу эту квартиру! — крикнула она, ломая пальцы. — Позовите слесаря, пусть он спилит его!..

Дворник обещал завтра позвать слесаря. Мария, казалось, успокоилась и остаток вечера провела в хлопотливой уборке спальни. Время от времени она поглядывала на крюк, но тотчас же отворачивалась, нервно поводя плечами, и угрюмо молчала. Мы расставили кровати, устроили постели; при помощи того же дворника временно водворили в спальне платяной шкаф, который, по удалении зловещего крюка, должен был стать в угол; крюк, таким образом, теперь торчал между стеной и шкафом и был виден с наших кроватей...

Мы легли спать часов в одиннадцать, совершенно выбившись из сил. У жены болела голова, и она укутала ее смоченным в одеколоне и укусе полотенцем...

Я тотчас же заснул, но сон мой был беспокойен, тревожен. Во сне меня что-то мучило — какой-то неясный страх сжимал мое сердце, холодели руки и ноги. Я стонал и сам слышал свои стоны...

Скоро я проснулся. Откуда-то с улицы падал в окна слабый свет. Мария сидела на постели и смотрела в темный угол между шкафом и стеной. Она вся как будто окаменела.

Вдруг она схватила меня за руку.

— Ты видишь?.. — спросила она шепотом, не отрывая глаз от угла.

— Я ничего не вижу, Мария, — сказал я. — Успокойся. Там — пустой, темный угол — и больше ничего!..

— Нет, нет! — шептала она, дрожа всем телом. — Как ты не видишь?.. Она висит на крюке!..

— Кто — она?.. Ты бредишь, Мария!..

— Женщина!.. Там женщина!.. У нее на голове — полотенце!.. Ну, посмотри же — у нее с одной ноги спустился чулок и упала туфля!.. Боже, она высунула язык!.. И глаза совсем вылезли из орбит!..

Я ничего не видел, но страх ледяным холодом коснулся моего сердца; меня тоже начинала бить лихорадка. Мария галлюцинировала — это было несомненно; я поспешил за-

жечь лампу и нарочно осветил угол, чтобы показать ей, что там ничего нет. Вероятно, у меня самого нервы были порядком расстроены: мне показалось, что за шкафом, в ту минуту, как я поднял лампу, что-то большое, белое поплыло вверх и медленно растаяло. Ледяная дрожь пробежала по моему телу. Но я тотчас же овладел собой и по возможности спокойно сказал:

— Вздор!.. Ты только мешаешь мне спать!..

Мария откинулась на подушку, закрыла глаза и убежденно сказала:

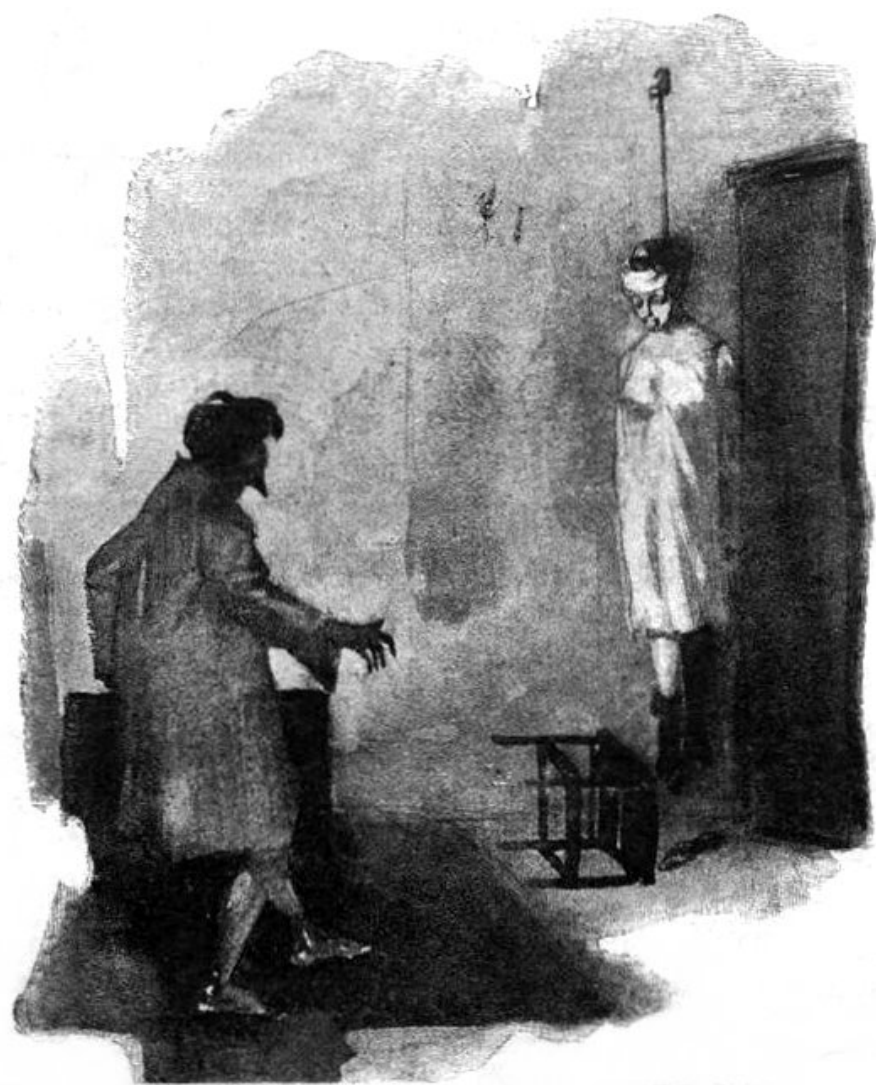
— Нет, это не вздор!.. Я видела ее вчера, когда мы занимали квартиру — и такой же, как теперь!.. — она сжала виски пальцами. — Боже, я сойду с ума!..

— Спи! — строго сказал я, пытаюсь подействовать на нее внушением. — Ты сама выдумываешь разные страхи! Это — ребячество!..

Я оставил лампу зажженной, надеясь, что при свете Мария успокоится и заснет. Она в самом деле скоро забылась; но губы ее тихонько вздрагивали и из груди время от времени вырывался слабый стон тоски и страха... «Нужно будет завтра повести ее к доктору», — думал я, сильно обеспокоенный ее нервным состоянием. На этой мысли я заснул.

На этот раз я спал крепко, без всяких сновидений... Не могу объяснить — отчего я вдруг проснулся; меня точно что-то сильно толкнуло или словно над моим ухом раздался пронзительный крик. Я вскочил, ничего не понимая, весь налитый жутким, ледяным страхом...

Уже светало: холодный, серый полусвет ненастного раннего утра лился в окна. Лампа на подоконнике была окружена кольцом тусклого, желтого света... Первое, что мне бросилось в глаза — это белое пятно в темном углу за шкафом; оно не поплыло вверх и не рассеялось при моем взгляде, нет! Оно стояло там во всем ужасе таинственного, страшного привидения. Я увидел ту женщину, о которой мне говорила Мария: у нее голова была повязана полотенцем, язык высунулся изо рта, глаза вылезли из орбит; и эта ужасная подробность — с одной ноги спустился до щиколотки чулок и свалилась туфля!..



Это было невероятно: двое людей галлюцинировали одним и тем же призраком!.. Мне казалось, что я схожу с ума; в голове у меня словно бушевали вихри. Я весь дрожал от пронизывавшего меня ледяного холода и стучал зубами. Среди беспорядочно вертевшихся и обрывавшихся в голове мыслей у меня вдруг возникла одна, совершенно ясная мысль: почему же это привидение не исчезает? На моей голове шевелились волосы, страх душил меня, точно железные пальцы сжимали мне горло, сердце падало, я чувствовал предобморочную тошноту...

Повинуясь смутному инстинкту самосохранения, я бросился к лампе, торопясь осветить угол, чтобы убедиться, что там ничего нет. Я схватил лампу, высоко поднял ее в руке, — и в эту минуту увидел, что постель Марии — пуста. А привидение по-прежнему стояло, не боясь света и смотрело на меня страшными, стеклянными, безумными глазами!..

Лампа выскользнула у меня из рук и со звоном разбилась. Я побежал через все комнаты, не помня себя от ужаса, выскочил на лестницу, как был — в одном белье — скатился вниз по ступеням и сумасшедшим стуком в дверь и окно разбудил дворника. Парень вышел ко мне, и, ни слова не говоря, точно он уже знал, что случилось, пошел ко мне в квартиру. Я шел за ним, стуча зубами и тихонько, по-собачьему, воя...

Дворник прошел прямо в спальню, к тому углу, где торчал крюк. Заглянув туда, он вздрогнул и отступил назад, испуганно бормоча:

— Ах, ты, Господи, какая беда!.. И совсем как та барыня!..

Мы сняли Марию с крюка уже совсем холодной...

Наталия Потапенко

КОМНАТА С ПРИВИДЕНИЕМ

Долго пустовавшее имение князей Ильцовых, наконец, было продано, и новые владельцы въехали в него. Это была семья, состоявшая из отца — плотного, несколько ожиревшего, небольшого человека, матери — крупной, полной женщины с пухлыми руками, унизанными кольцами, старшей дочери и троих младших детей.

Муж и жена Новопудовы были люди солидные, основательные. Имение приобрели они, надеясь извлекать из него хороший доход. Хозяйственными постройками, хотя они и были запущены, остались довольны, обходя же дом, морщились.

— Никудышный дом! Ну, к чему все эти колонны, да ниши, да верандочки. Все подгнило — того и гляди развалится. Лучше уж снести, да новый выстроить. И мебель виду никакого не имеет. Напишу Салову, чтобы на своей фабрике новую сделал. И кто это жил здесь, в таком запустении...

— А это, изволите ли видеть, потому запустение такое произошло, — вмешался приказчик, оставшийся в имении, чтобы встретить новых хозяев, — что настоящий-то владелец-князь давно уже отсюда выехал, то есть, вернее будет сказать — вышел ...

— Как это — вышел? — спросила Новопудова.

— Да так что, ваше степенство, выпивать они любили, ну и сгубило это их. Все они по частям продавали господину Смирнову и, как последнее пропили, так отсюда и ушли — в одном пиджачке да без багажа. Много про них слухов ходило, что бродяжной жизнью они зажили, будто их на большой дороге видели в рубище и еще другое, разное, что и говорить-то не хочется. А господин Смирнов здесь не жили и домом вовсе не занимались. Так он после настоящего владельца, после князя, и стоит.

— Что ты все — настоящий владелец! Пьяница, бродяга с большой дороги, вот он кто — твой князь. А настоящий владелец и есть господин Смирнов. Потому тот вла-

делец, кто приобрести сумел, а не тот, кто растратил да пропил. Да при том я не с князем, а со Смирновым дело имел, он меня и во владение ввел, и теперь настоящий владелец — я!

Приказчик замолк и почтительно склонился.

Стали распределять комнаты. Выбрали спальню, кабинет, детские. Вошли в просторную, несколько темную комнату с нишами в стенах. Мебели в ней было мало: стол, несколько стульев, большое старинное кресло с высокой спинкой и кровать. Несколько темных, старых портретов на стенах. Эта комната была запущена больше других, и все в ней казалось более старым, более выцветшим, чем в остальных.

— Я беру себе эту комнату, — сказала старшая дочь — Антонина.

— Что ты, Тонечка, — возразила мать. — Самую темную и холодную выбрала. Старику бы здесь спать, а не девице.

— Но мне она правится.

— Не советую, барышня, — снова вмешался приказчик. — Про эту комнату неладное рассказывают.

— Что такое? — живо спросила Антонина, и глаза ее заблестели, — она любила все таинственное и загадочное.

— Привидение здесь по ночам ходит. Когда-то, должно лет сто назад, в этой самой комнате один из князей удушился.

— Господи Иисусе, — прошептала Новопудова и перекрестилась.

— Ну уж в этих барских имениях нельзя, чтобы без привидений, — возразил муж. — Много людей без всякого дела держат, вот они и выдумывают от безделья да от скуки.

— Ах, папа, ты всегда так, — сказала недовольно Антонина. — Это так интересно — привидение! Я непременно, непременно буду жить в этой комнате.

— А еще говорят, что здесь шкатулка под полом зарыта, — продолжал приказчик размеренно-привычно (верно, много раз приходилось ему повторять этот рассказ). — А в шкатулке той клад...

— Но это совсем восхитительно. Я непременно ее вырою.

— Ха, ха, ха, — засмеялся Новопудов. — Неужели ты воображаешь, что его раньше не отрыли бы, если бы он существовал? Ведь не ты первая о нем узнала.

— Многие, говорят, рыть пытались, — сказал приказчик, — да он не позволяет.

— Кто?

— Да князь, угнетенник.

— А мне наверно позволит!.. — весело отозвалась Антонина и, обращаясь к отцу, продолжала:

— Ты, папа, пожалуйста, не мешай мне думать, что он тут и что я вырою его. Мне приятно воображать, если там даже и нет никакого клада. Итак, решено — эта комната моя!

Мать пробовала отговорить Антонину — она была суеверна, — но Новопудов сказал, что он доволен храбростью дочери, и пусть она поступает по-своему.

2

На другое утро Антонина вышла к чаю немного бледнее обыкновенного. Она была малоразговорчива и скоро, сославшись на головную боль, ушла.

На следующий день она была еще бледнее и уже совсем ни с кем не говорила.

Мать подозвала ее к себе, отвела в сторону и тихо сказала:

— Ты, Тонюша, не таись, признайся, не видала ли чего. Может, и правда, что там кто-то является...

— Ах, мамаша, но надо об этом, — проговорила Антонина и убежала прочь.

После обеда, когда все легли спать, она отправилась к приказчику.

— Кое о чем спросить вас, Петр Петрович, мне надо...

— Чего изволите, барышня?

— Вы тогда вот говорили... про привидение... что это князь умерший показывается... так я хотела бы знать, в каких годах он удавился?

— Да годов, верно, семидесяти...

— Вы наверно знаете, что не молодым?

— Наверно. Князь до старости дожил. Много творил, рассказывают...

Он хотел завести один из своих привычных рассказов, но Антонина, поблагодарив, быстро ушла.

Вечером, ложась спать, она думала:

«Неужели и сегодня тоже будет... Ах, все это, верно, нервы, после тех рассказов...»

Но только успела она это подумать, как в одной из ниш на мгновение мелькнул свет, потом снова, снова.

Антонина села на кровать и замерла.

Из ниши вышло белое привидение и остановилось, скрестив на груди белые, тонкие, не похожие на старческие руки.

Антонина встала и, собрав все свое мужество, сделала несколько шагов.

— Кто здесь? — проговорила она. Но ответа не было.

Привидение стояло неподвижно.

Антонина прижала руки к сердцу, так как ей казалось, что оно сейчас разорвется.

Вдруг привидение зашаталось и, протянув руки, ринулось прямо на нее.

Антонина вскрикнула и упала без чувств.

Когда она пришла в себя, то почувствовала, что лежит на кровати. Около нее сидел человек с бледным, болезненным, но красивым лицом. Одет он был почти в лохмотья. В руке держал флакон с одеколоном из Антонининового дорожного мешка. И она увидела, что это были те же руки, что у привидения. Но сам он совершенно не был похож на призрак, а особенно на призрак удавившегося старика.

Антонина была так слаба, что не могла ни сказать ничего, ни пошевелиться.

Но, как только человек с руками привидения понял, что она очнулась, он заговорил:

— Ради Бога, простите, что я так напугал вас. Я просто и не знаю, как объяснить вам.

При звуке его живого, человеческого голоса, она окончательно пришла в себя и, приподнявшись, спросила:

— Но кто же вы?

— Князь Ильцов. Я сейчас вам все объясню... Впрочем, вам, вероятно, говорили обо мне, о том образе жизни, который я здесь вел... Я продавал мое родовое имение по частям этому кулаку Смирнову. Совесть не мучила меня только потому, что за все эти годы я ни одного дня не был трезв. Когда последнее было пропито, я ушел отсюда, потому что у меня не оставалось денег даже на то, чтобы нанять ямщика. Я не буду рассказывать вам, как я жил эти пять лет, да это и невозможно сейчас, такая это была дикая, странная жизнь. Где я только ни был, с какими людьми ни встретился.

Но во время моих скитаний все же бывали минуты просветления, я не пил так непробудно, как дома, где мне не приходилось ни о чем думать, ни о чем заботиться. И в эти минуты просветления меня мучила страшная, непреодолимая тоска по имению, по дому, где я родился, где я вырос, где жили все мои предки. Конечно, тоска эта быстро заливалась вином, но неизменно возвращалась все с большей силой. Наконец, я решил вернуться, чтобы хоть увидеть свой дом. Я собрал все свои силы, свою волю. И так сильно было мое желание, что мне удалось попасть в родные места. Я долго не смел, не решался придти сюда, в усадьбу. Я бродил по уезду, по привычке знаясь с темными людьми, но не пил, чтобы не потерять последние силы, чтобы в полном сознании добраться до своего дома, то есть до своего бывшего дома... И вот от разных людей я узнал про клад, зарытый в этой комнате и про привидение моего прадеда, которое будто бы стережет клад.

Я припомнил, что слышал что-то об этом кладе в детстве, но позже, в своем диком угаре, забыл. Меня еще сильнее потянуло, и я пробрался сюда...

В тот день еще никого не было здесь. И я решил, что имение во что бы то ни стало должно снова принадлежать мне.

На другой день приехали вы. Я решил остаться здесь за этой нишей, в которой потайная дверь и за ней темная каморка, Бог знает для каких целей служившая в прежние времена. Я надеялся, что никто не поселится в этой комнате, в противном же случае решил воспользоваться <...> выжить отсюда всякого, кто захочет здесь жить*. К моему сожалению, это оказались вы.

С трудом дослушав рассказ князя, Антонина, тронутая, потрясенная, разрыдалась и, схватив руки его, прижимая их к губам, поклялась, что поможет вырыть клад, и имение снова будет принадлежать ему.

3

Антонина достала у приказчика Петра Петровича все нужное, чтобы рыть клад: лом, кирку, заступы. Петр Петрович, покачивая головой, сказал:

— Неладное вы дело затеяли, барышня. Как бы «он» не воспротивился.

— А может быть, «он» мне как раз и поможет.

На день Антонина запирала свою комнату на ключ.

Ночью же шла упорная работа. Нужно было делать ее осторожно и тихо, чтобы не привлечь ничего внимания.

Время шло, работа подвигалась.

Антонина повеселела. Иногда, впрочем, она впадала в задумчивость.

Она всеми силами старалась помогать князю, но, вместе с тем, страшилась окончания работы. Ведь тогда он уедет, и она останется одна. Ей казалось, что она не вынесет разлуки, так сильно она полюбила его. А он?.. Этого она не

* Пропуск нескольких слов в оригинальной публикации (*Прим. сост.*).

знала, надеялась, боялась. Наконец, открылась ему в своей любви.

И тогда наступили для нее счастливые дни.

Работа остановилась. Ими обоими завладела любовь. Антонина не рассуждала. Он принадлежит ей, значит, любит ее.

Так в блаженном безумии прошел месяц. Антонина готова была провести так всю жизнь. Но князь опомнился и снова принялся за рытье.

Минуты любви стали теперь коротки.

Князь часто впадал в мрачность и тревогу.

Но все же он был с ней, и Антонина была счастлива...

Но вот однажды заступы ударились обо что-то. Глаза князя загорелись торжеством. Вскоре удалось вытащить тяжелый кованый ларец. Он оказался наполненным старинными золотыми монетами.

Антонина вздохнула и в этом глубоком вздохе было больше грусти, чем радости.

Она умоляла князя остаться еще хоть несколько дней, но он не соглашался. Он нежно простился с ней, обещал приехать уже открыто через два месяца, чтобы просить у отца ее руки и купить у него имение.

Антонина осталась одна.

Вначале она терпеливо ждала возвращения князя и была бодра. Она вся отдалась воспоминаниям и, чем больше проходило времени, тем призрачнее казалось ей ее счастье.

Прошло два месяца — о князе не было никаких известий.

Антонина стала худеть и бледнеть.

Родители забеспокоились. Вскоре она совсем заболела. Выписали докторов, но они ничего не могли сделать.

На вопросы Антонина не отвечала. Она словно потеряла рассудок.

Ночью, лежа в постели и безумными глазами глядя на ту нишу, в которой был потайной ход, она думала о том, что, может быть, князь действительно был призраком.

— Говорил я, что неладное они дело затеяли, — сказал Петр Петрович. — Сгубил барышню «он». Сами на тень похожи стали.

Через полгода пронесся слух о том, что князь Ильцов получил неожиданное наследство и прокучивает его за границей.

Однажды, поздней осенью, Антонина исчезла. Два дня ее тщетно искали.

На третий день нашли в реке ее тело.

Александр Бахметьев

ВРАГ

(Из найденной рукописи)

Илл. А. Пана



Я был женатым два года. Кто, в сущности, объяснит, в чем состоит супружеское счастье? Если в том, что жена кротка, чересчур кротка, покорна до робости, терпелива, не смеет уклониться от супружеской ласки, если в доме образцовый порядок, прислуга не слышит ни упрёков, ни сетований, — да! если в этом, то я был чертовски счастливым мужем. Когда я возвращался на рассвете, а это случалось частенько, с запахом вина, с мутными глазами и тяжелою головой после кутежа, едва сдерживая глухое бешенство, я встречал только взгляд укоризны и безмолвного страдания, взгляд мученицы, и больше ничего. И всякий раз этот взгляд раздражал меня и в то же время доставлял удовольствие.

Когда, сидя позади нее, играющей на рояле свои грустные мелодии, я по целым часам нарочно хранил суровое молчание или вдруг раздражался сарказмом и насмешками, а она, уткнув лицо в руки, наконец, начинала вздрагивать от сдерживаемых и тихих рыданий — о, я живо чувствовал тогда это счастье. Когда за столом, недовольный кушаньем, я бросал ей в лицо салфетку, осыпая вполголоса проклятиями, чтобы слуги не слышали (при них я всегда ей ласково улыбался), когда после вечера, где нас видели все время вместе, нежно беседующими, я изливал в карете всю накопившуюся злобу и, доведя ее до спальни, обращался с нею,

как с отвратительным созданием — да, тогда я вполне наслаждался им, этим милым семейным счастьем.

И все-таки я был очень несчастлив. Ведь понимал же я, что я зверь, грубый, бесчувственный, зверь, кому нет и не может быть извинения. Понимал же, что лишь благородная гордость заставляет ее мужественно переносить страдания и тщательно скрывать их от всех, хотя она могла искать защиту и управу на меня, что доставшуюся ей тяжелую жизнь она считала за ниспосланный свыше крест, за своего рода испытание для будущего мира, — все я понимал и не мог отказаться от своей роли палача.

Зачем она, в свою очередь, была так робка, так ангельски добра и терпелива, так целомудренно чиста, так прекрасна какой-то спокойной, трогательной красотой? Зачем, наконец, она досталась мне? Зачем? Зачем?

Как ни странно, как ни глупо, ни смешно, но вся беда случилась из-за этого проклятого портрета.

Еще в первый раз мне было не совсем по себе среди этой чопорно-изящной обстановки, где все держалось строгой симметрии, все носило отпечаток какой-то холодной порядочности, где передвинуть небрежно вещь сочлось бы преступлением. Особенную же неловкость испытывал я при виде строгого лица, глядевшего из золоченой рамки.

Часто в портретах скрывается тайна. Часто ясно видишь, как их губы раскрываются, не произнося звука, в глазах вдруг загорается жизнь, мгновенный огонь ее, огонь страсти, гнева; неуловимая тень пробегает по ним; лукавая насмешка, чуть заметная насмешка, кривит очертание нижней губы.

Ясно видишь, как тонкая ирония, хитрость, что-то непостижимое и странное разливается по нарисованному лицу, и понимаешь, что портрет понимает тебя, ВИДИТ насквозь, отгадывает самые сокровенные мысли, привлекает к себе... Отведешь глаза — тусклый взгляд сзади жжет затылок; он преследует по всей комнате, ищет всюду, следит по всем направлениям — и так за каждым шагом, за каждым движением. И ничем не страхнешь с себя тяжелое, как кошмар, оцепенение.

Почему я понял, что старуха на портрете с первой же минуты возненавидела меня? Почему я так боялся ее? В ее лице не было ничего неприятного: несколько надменное, с выражением душевной прямоты и горделивого сознания безупречно проведенной жизни, — что заключало оно в себе особенного? А между тем, я избегал смотреть на него. Мне, беспечному кутиле, за которым бегали женщины, не боявшемуся никаких историй в полусвете, мне было жутко встречать упорный, испытующий взгляд портрета. Ясно я читал в нем: но на свое место ты забрался! пошел вон!

Наконец, и злость меня взяла. Я удвоил внимание к хорошенькой простодушной сироте; опекун ее был давно на моей стороне, обвороченный моим обращением, а мое красивое лицо и молодцеватая фигура признанного ловеласа dokonчили остальное. Я женился. Я даже был несколько влюблен в жену...

С первых же дней брачной жизни, за обедом, за завтраком — портрет почему-то висел в столовой — я уже испытывал сильное беспокойство. Старая ведьма окидывала меня с ног до головы презрительным взглядом, мешала есть, свободно разговаривать, заставляла испытывать то чувство стеснения, как будто я надел в обществе платье не на свой рост. Я сжимался весь под этим насмешливым взглядом, делал одну за другой тысячу неловкостей, приводил в недоумение гостей, обедавших у меня, излишней развязностью, угождением, желанием быть веселым. В рассеянности я обливал скатерть, опрокидывал рюмки и, переконфуженный, встречал такой же вопросительный, осуждающий взгляд в глазах жены. И какая же буря хлопотала в моей груди! Трусость, подлая трусость заставляла меня отворачиваться от портрета, когда наши взоры встречались, опускать голову — и тогда я чувствовал: угнетающая свинцовая тяжесть висела надо мной, давила меня.

И не мог я ни уничтожить его, ни выбросить. Заветная святыня моей любезной супруги, он постоянно был предметом внимания и беседы разных старых ханжей, родственников жены, ежедневно появлявшихся у нас; на тысячу ладов воспевались достоинства покойницы, приводились на-

зидательные примеры из ее жизни, то и дело рассказывалось о ее высоком уме, такте, образованности и черт знает еще о чем. А я, я принужден был поддакивать, умиляться, выражать восторженно удивление. Казалось, в сухих мозгах этих макбетовских наставниц, ниспосланных за что-то судьбой на мой жизненный путь, все было заполнено воспоминаниями об их удивительной сверстнице, рано и напрасно похищенной безжалостной смертью от этого мира в лучший, «где, вероятно, она была нужнее».

Воспоминаниями же о ней косвенно учили меня утонченному обращению, светской мудрости и прочим непостижимым тонкостям, необходимым, по их мнению, для человека *comme il faut*. И если с того времени я окончательно не почувствовал ненависти к всевозможным добродетелям и приличиям, то это просто изумительно.

Даже те часы обеда, когда мы оставались с женой наедине, даже они были отравлены невозможной старухой: вдруг ни с того, ни сего в середине речи глаза жены увлажнились, рука, подносящая ложку ко рту, тихо опускалась и, устремив взоры с благоговением на портрет, она оставалась так подолгу неподвижной, задумчивой. Затем все сопровождалось вздохом, а иной раз новым повествованием о бесценной, милой-милой *maman*, этом земном ангеле, навсегда отошедшим от нас в вечность.

Нет, это становилось невыносимо!

В спальне, в гостях, в театре, всюду неумолимо преследовала меня ведьма. Каждую минуту она напоминала мне о себе, каждую минуту я натывался дома на вещи, принадлежавшие когда-то ей, на которых еще оставался, казалось, след ее — на кресла, в которых она прежде сидела, мечтала, принимала гостей, беседовала; на собственноручные ее вышивания, сохраняемые женой, как драгоценность, на любимые ее картины, книги, ноты. Мало того, что я уже знал все ее привычки и особенности, я должен был изучить еще историю всех безделушек, дорогих когда-то ее сердцу, по которым можно было проследить весь ход этой высоконравственной жизни от лет неясных девичьих грез до последнего дня пребывания на земле.

И так-то каждый день она допекала меня! Она наполняла весь дом, жила наперекор всему, назло мне, вытесняла меня. Ночью она спала между мной и женой на нашей кровати, как спала на ней когда-то с мужем, днем напоминала о себе болтовней старух, всюду присутствовала в виде оставленных после себя предметов, глядела с намалеванного холста, язвила, унижала, терзала меня, высокомерно улыбалась, отравляла все мое существование.

Наконец, я объявил войну.



Да, раз как-то, когда в комнате никого не было, я, набравшись мужества, показал ей кулак. Восхищенный этой выдумкой, я вслед затем сделал перед нею, столь чопорною и надменной, самое неприличное движение и, наконец, плюнул ей прямо в лицо. А, колдунья! Наконец, найдено средство для мести.. Видно, я уж не так безоружен.

С того дня и придумывал всевозможные способы, чтобы оскорбить ее. Я уже не довольствовался тем, что, простаивая перед нею подолгу, ругал ее, щелкал по носу, царапал и пачкал ее изображение. Нет! я изыскивал средства

сильнее, утонченнее, чтобы глубоко поразить сам ее дух, свивший себе гнездо в нашем доме. Что, в самом деле, портрет? Душу ее, живую, чувствующую душу, надо было поразить.

Ах, мы ничего, ничего не знаем, ничего не в состоянии ясно представить себе, чуть вопрос коснется вечной тайны бытия и смерти. Казалось бы, дело ясно: человек умирает, его тело коченеет, холодеет, вся машина, на которой изготавлялась эта непостижимая сила, именуемая жизнью, перестает работать и делу бы конец. Однако, во всем этом есть еще что-то, что уже много веков смущает человечество и будет смущать вечно. Да, что-то и после смерти продолжает жить, в нас ли самих или окружающей природе, и это что-то мы также продолжаем любить, бояться, ненавидеть или трепетать перед ним, а оно, со своей стороны, как бы протягивая нам руки из-за могилы, налагает на нас цепь своей жадной власти. Влияние ее часто сильно и прочно — мрачный деспотизм усугубляется подавляющей силой непреходящего, мучительного чувства, которому нет определения. Я ничего не хочу ни утверждать, ни доказывать. Но, быть может, возможны такие случаи, когда, расставшись с телом, которое унесут, зароят в желтоватый, рассыпающийся песок, душа все-таки остается в том помещении, в котором умерший жил... Что касается моей старухи, то я даже убежден, что ее-то душа и не подумала удалиться из дома. Это и понятно: она слишком горячо любила дочь. Их любовь, трогательная, беззаветная, пережила разрушение. Зачем ей был другой мир, другие радости и чувства, когда на земле оставалось самое дорогое для нее, что нужно было защищать и охранять? Вот почему ко мне, так грубо вторгшемуся в их дом, старуха питала непримиримую ненависть. Вот почему она во что бы то ни стало хотела сжить, уничтожить меня.

Но я не поддавался.

Напротив! с каждым днем я становился все изобретательнее. Нападать на нее, смеяться над ней, позорить ее — это обратилось у меня в потребность, в наслаждение. Бешеная жажда клеветать на нее, порочить саму ее память, не

давать ей покоя и за дверями гроба, овладела мной. Часто, вслушиваясь в воспоминания о вей моих новых родственниц, я вставлял как бы с негодованием: «Да! да! у покойницы была редкая, высокая душа, но ведь находятся же такие негодяи...» И тут я мгновенно придумывал коварную ложь, бросавшую тень на прошлое покойницы. И это мне тем более удавалось, что я знал ее жизнь до мелочей. Стоило только изменить факты, несколько иначе осветить их и дело казалось правдоподобным. Седые мегеры ахали, качали головами, растерявшаяся жена принималась рыдать, а я... я торжествовал победу.

Раз как-то жена имела неосторожность показать мне письма первого жениха ее матери, умершего внезапно от разрыва сердца за месяц до свадьбы. Это были те милые излияния первого юношеского чувства, полного трогательно-го обожания, смутной потребности страсти и целомудренной нежности, которые проникнуты поэзией молодости, ее пылом, несознаваемым еще желанием бунтующей крови. И от всех пожелтевших исписанных бумажек, перевязанных голубыми ленточками, волновавших когда-то сердце (увы! давно сгнившее), веяло чем-то грустным, чем-то томительно, безнадежно грустным, так что мне хотелось плакать. И мне было жаль этой прерванной любви, поглощенной мраком могилы и надолго оставившей в другом разбитом сердце чувство покорного отчаяния. Жаль мне было безжалостно развеянных грез, уничтоженных разложением сверкающих глаз, в которых светилося когда-то пламя торжествующего счастья, жаль бесследно исчезнувших в земле губ, на которых едва осмеливалось гореть первое робкое лобзание. Да, мне было очень грустно.

Однако, в тот же вечер, в большом обществе, я рассказывал об этих письмах. Я передал их содержание в таком комичном виде, такой сумел придать им оттенок наивности, пошлости, что все сначала неудержимо хохотали. Когда же вслед за тем, ядовито и осторожно, перед ними стала постепенно вырисовываться история этой бедной страсти, грубо искаженная, полная злых и цинических намеков, беспощадного сарказма, все кругом смолкло. И в расширенных

зрачках и в побледневшем лице жены я прочел испуг, захватывающую боль и чувство изумления, смешанного с горьким презрением. Кого-то эти глаза мне напомнили. Черт возьми! да ведь это глаза старухи, ее матери! Как я до сих пор не мог догадаться, что в молодости она была такая же, имела совсем, совсем такое же лицо? И все, изгиб носа, тонкая характерная линия подле него, идущая к углам рта, даже три коричневые крапинки, три крохотных родимых пятнышка на подбородке, все как у старухи! А волнистые, белокурые волосы! маленькие, тонкие уши! слегка покатый, чистый лоб!

Да! да! Это она, мой враг, сидит передо мной, но похороненная, снова вернувшая свою молодость. И это тем более понятно, что она же дала и эту красивую, розоватую оболочку — тело, и часть души своей, желаний, характера — все, что развилось из ее собственной плоти и крови.

Я был несколько ошеломлен этой мыслью, смутное раздумье охватывало меня... Но меня так занимала борьба, что я не хотел бы праздновать полную победу слишком скоро.

Когда мы вернулись домой, я прочел на лице портрета выражение грусти. Я понял, ей уже было известно, что самая слабая ее сторона разгадана. С того времени у нас была даже не борьба, а непрерывная победа для меня, преследование и унижение врага, длинный ряд издевательств над ним. Да, я платил за прошлое сторицей! Я мстил, жестоко мстил. И ничего она не могла предпринять против меня: ее дочь находилась всецело в моей власти. Быть может, это лишь плод моей фантазии, но мне казалось, что лицо старухи с каждым днем становилось все пасмурнее. О, она все чувствовала, все переживала, сама терзалась муками дочери! А все-таки ничего не могла поделать! Ха-ха!

Самым любимым моим занятием сделалось с тех пор сидеть за спиной жены, когда она играла на рояле. Сидеть, перебирать в уме свои ощущения, думать о старухе. Если же

на, обеспокоенная моим долгим молчанием, моим тяжелым упорным взглядом, постоянно устремленным ей в спину, пыталась встать, переставала играть, я силой удерживал ее. Я заставлял ее играть снова. И она играла подолгу, по целым часам.

Портрет я повесил против рояля, так что, не поворачиваясь, мог смотреть на него. И я думал: видишь, колдунья, стоит мне только протянуть руку к этой нежной, с синеватыми жилками шее, сдавить ее, и все молодое тело затрепещет, забьется в моих руках, как пойманная птица. Оно будет задыхаться, корчиться в агонии, напрягать все усилия и биться, биться... Видишь, она совсем беззащитна. Что, если я сейчас и в самом деле все сделаю?

И мне стоило больших усилий удержаться от непоборимого почти желания, страшного увлекательного соблазна, одолевавшего меня с каждой минутой все больше. В висках стучало, мелькали кровавые круги перед глазами и, задыхаясь, я наконец поспешно уходил.

Нет! зачем лишать себя удовольствия так скоро?

Но вот беда: с каждым днем щеки жены становились все бледнее, она слабела, угасала — быстро, неудержимо, заметно. Раз, возвращаясь с бала, я был просто поражен: она не могла взойти по лестнице и должна была держаться за перила, чтобы не упасть от слабости. А после того, как, выведенный чем-то из себя, я толкнул ее бедняжку, она и вовсе слегла в постель.

Наступила весна, доктора посоветовали ей уехать в деревню — я не препятствовал. Что мне было тогда за дело до нее? Другое чувство всецело наполнило мое существование. Это было одно из тех увлечений, которые проходят быстро, но потрясают нас глубоко, возбуждают жажду ненасытных желаний и навсегда оставляют сердце неудовлетворенным и тоскующим.

Я был как в горячке.

Жену я больше не видел.

Целый год после ее смерти я путешествовал, затем жил в Петербурге, было несколько мелких романов, в которых не участвовало сердце, сильно играл. Жизнь проходила тревожно, но тоскливо, с ощущением заметной пустоты. Наконец, я сказал себе: поеду жить в деревню.

Да, вот чем разрешилось то неясное беспокойство, докучная, как ноющий зуб тоска, какую нельзя было заглушить ни шумом кутежа, ни звуками веселой музыки. В деревню! в деревню! Туда, в низкие комнаты, где провела последние одинокие дни загадочная, вечно безропотная, вечно молчаливая женщина, прислушиваясь, как ветки яблони движутся и стучат в окно, как беспокойно носившийся по комнате шмель гудит и ударяется по стеклу. Почему-то мне неотразимо захотелось снова увидеть всю обстановку, среди которой стоял гроб с приподнятой на белых подушках застывшей головой, окруженной золотистым сиянием от солнца и белокурых пышных волос, представить себе, что думала, чувствовала больная за дни своего печального заточения. Думала ли она обо мне, неумолимом, безжалостном, заставившем ее так тяжело, так незаслуженно страдать? Простила ли она меня? Или ее взор, ища успокоения, без всякой мысли обращался к безмятежным облакам в прозрачной лазури?

И вот я мчусь на скором поезде в О...скую губернию. До усадьбы от станции считалось восемнадцать верст. Я приехал поздно вечером. Ночь я провел плохо: мне чудились шорох, подавленные рыдания, стоны. Нервы были расстроены, хотя усталость оковывала члены.

Рано утром я приказал открыть ставни Климу, хилому старику с длинной, грязновато-седой бородой, словно оттягивавшей его голову книзу, проживающему при доме... я и сам не знаю, в качестве кого. Он ушел и вскоре послышалась за стеной его неторопливая возня. Болты стучали. Ставня приотворялась сначала на палец и оставалась так на минуту, на две. Узкая полоса света мгновенно протягивалась тогда по полу и на стене, какой-нибудь резной лист сбоку стола или ручка кресла вдруг выделялись среди темноты, радужные оттенки спектра расползались по освещенному

месту и прозрачные капли застывшей смолы на стене — стены были обиты сосновыми щитами — на минуту казались розоватыми бриллиантами. Мрак синел, расступался, расходился, словно нехотя уступал свою власть, наконец, трусливо убирался восояси из дома. Свежий радостный блеск летнего утра победоносно врывается сквозь освобожденные окна и все наполнял своим живительным очарованием, тем очарованием, которое говорит о холодных, чистых каплях росы на траве, о просыпающемся луге, о негромких, несмелых еще песнях пернатых, о возбуждающем крепком запахе сена, заночевавшего под открытым небом, о могучей беззаботной радости, беспредельном ликовании природы. И мне было весело переходить из комнаты в комнату и следить за победой света над мраком. Мне хотелось упиться им, этим чарующим утром. Вдруг я остановился пораженный, готовый закричать от ужаса. Позолота сверкнула на стене, и чьи-то живые глаза задвигались, устремили свой вопросительный взгляд на меня. Я так и затрясся весь, а потом расхохотался. Передо мной висел все он же, старый знакомый портрет старухи. Я припомнил, что жена, уезжая в деревню, в числе других вещей взяла его с собой.

Я долго стоял перед ним. Я разглядывал его спокойно, почти с сожалением. Так смотришь на побежденного врага после многих лет с последней встречи, смотришь и удивляешься, почему так сильно желал ему когда-то зла, почему один вид его зажигал пламя ненависти — и смешно становится за свою прежнюю горячность.

Он висел подле кровати, на которой скончалась жена. Значит, он видел последнюю агонию умершей. Быть может, между ними каждый день велась молчаливая, но оживленная беседа, полная гневных упреков мне и желания мести. О, он-то, наверное, слышал жалобы, едкие укоры мне, не скрываемые наедине жгучие рыдания, он один знает ту тайну, которую навсегда замкнула могила. Но какое мне дело до того? Я его нисколько — нисколько не боялся.

Все утро я бродил то по березовой роще, то по безлюдным полям, где изредка звенели жаворонки, где лениво колыхалось золотое море колосьев, и все утро я думал о по-

койной жене. Напрасно я гнал эти думы от себя, напрасно переносил мысли на другие предметы, они все-таки являлись, являлись настойчиво, упорно, словно насмехаясь над всеми моими усилиями. Жутко становилось мне среди молчания полей, под холодным, светло-бирюзовым небом, среди равнодушного спокойствия природы, где взгляд едва обнимал однообразные, чуть волнистые линии горизонта, где не было деревень, ни малейшего намека на человеческое существование.

Я поспешил к дому.

Проходить нужно было большим, порядком-таки запущенным садом. Полдневный зной давил уже воздух. Ветер спал совершенно. Словно усыпленные, стояли тополя в своем горделивом спокойствии — хотя бы малейшая сухая ветка, хотя бы листок какой закачался на них! Даже тонкие, вечно подвижные концы берез не трепетали.

Широкая прямая дорожка упиралась в стену домика; над кустом малины темнело окно с белеющим наверху краем свернутой занавески. Почему-то я несколько не удивился, увидев в окне знакомую женскую фигуру, наклонившуюся над столом, что-то разбиравшую в нем. Я так был полон мыслями о жене, что присутствие ее в доме показалось мне естественным, даже неизбежным. Однако порывистым движением я растворил окно — никого нет, все в прежнем порядке, только портрет, ненавистный портрет злобно, но с явной насмешкой смотрел на меня. В дом я вошел не сразу. Я еще долго сидел под низким шатром темно-зеленых листьев яблони, откуда стыдливо выставлялись зарумянившиеся круглые плоды, под защитой ягодных кустов, перевитых до невозможности спутанными нитями повилики, усаженных обильно цветами голубоватыми и совсем бледными, с розовыми жилками, в форме колокольчиков. Порой я с робостью озирался: не раз мне казалось, что в глубь сада все уходит какая-то женщина спиной ко мне. Не раз я замечал, как в темной чаще стволов мелькало ее светло-голубое платье. Что это? обман зрения? галлюцинация? я болен? Или этот дом, этот сад населены опасными видениями?



Неужели их любовь, вечная любовь дочери и матери, навсегда удержат их в этом мире? Никогда, никогда не расстанутся они, не покинут этого клочка земли, где привелось им снова быть вместе? Я терялся в догадках... Наконец, Клим, слабый, сгорбленный Клим, шамкавший что-то своим беззубым ртом, выручил меня. Он ввел меня в комнаты. Там было так светло и уютно, что мне стало стыдно за свое малодушие, и я отпустил его. Старик побрел снова дремать под жаркую крышу сенника.

Я был храбр, решителен и смеялся над всевозможными страхами и видениями... вплоть до вечера. Когда же огромный багровый шар, словно вымазанный кровью, показался над темной массой леса и унылые тени одели задремавшие поля, я задрожал...

Бывают минуты, в особенности тихим поздним вечером, когда все в природе кажется проникнутым мистическим ужасом. От примолкнувшего бочага, на черные воды которого ложится медно-красное отражение восходящей луны, от одинокой березки на скате ложбины, еле пошевеливающей своими тонкими листьями, от лесной дороги, населенной утрюмыми, клубящимися сумерками, от всего веет чем-то, охватывающим чувством таинственного, чувством тоски и одиночества. Я не раз испытывал это... И торопился всегда в деревню, где еще слышны голоса, скрипят затворяемые ворота, а иногда раздается и последняя песня хоровода. Надежда на встречу с людьми ободряла меня.

Но сидеть одному в пустых комнатах уединенного домишки, быть затерянным вместе с ним среди широко-широко раскинувшихся, загадочно-безмолвных полей; знать, что никто не придет, не поможет, не скажет слова — нет! такому состоянию не имеется названия.

Я был покинут, оставлен в жертву самого ужасного, что только может быть на свете: я знал, что час расплаты наступил, что теперь я окончательно во власти ее, загубленной мной женщины.

Я попробовал крикнуть в окно. Глухо и странно пронесся мой хриплый голос над низкой порослью кустарника, над тихими, погруженными в сон заводами, над успокоенной поверхностью ржи.

Я хотел убежать, но вместо этого, обессиленный, отказавшись от всякой попытки на борьбу, бросился в постель и стал ждать...

Вскоре мною овладело оцепенение, род летаргии, когда все слышишь, чувствуешь, наполовину понимаешь скованным, отяжелевшим умом и не можешь двинуть ни одним мускулом...

В странном напряжении всей нервной системы я ждал, ждал нетерпеливо ужасов, начала пытки...

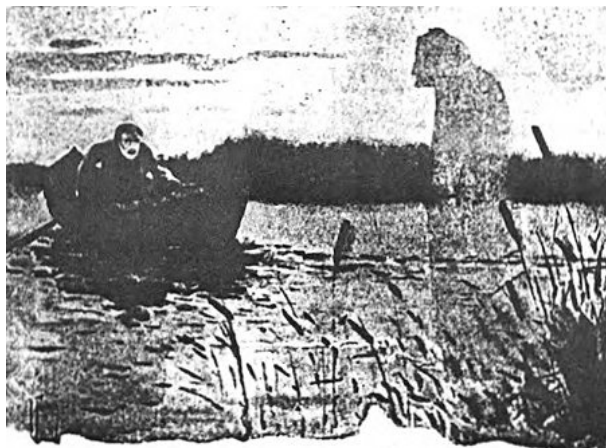
Какие-то звуки раздавались, звуки росли, и они терзали меня. Но я знал, что мучение впереди.

И «она» пришла вместе с серебряным светом луны, наполнившим комнату. Что я могу сказать еще? Помню, хо-

лодная рука легла мне на грудь... ледяные объятия сжимали, душили меня.

Потом я впал в беспамятство.

Она пришла и на другой день, когда в жалком мало-душье я потащился к портрету просить прощения.



Затем, вечером, когда я думал спастись из этого проклятого дома, уплыть по реке, она... в лодке... опять.

Ах, она приходит каждый день и от нее нет спасения!

Она являлась в битком набитом вагоне, являлась ежедневно в моем городском доме и теперь здесь, в лечебнице...

Она изводит, убивает меня.

Порой мне кажется, что крови совсем уже не осталось в моих жилах, что все тело холодеет, что все, все, все соки извлекла она из меня.

Боже, какая жизнь!

День раздражает меня своим шумом и светом, ночь невыносима темнотой и одиночеством.

Я поседел, быстро разрушаюсь, существование кажется мне в тягость, в тягость собственное тело.

Холодом смерти обдает меня.

Все кончено: я умираю...

Старый Курц

ВЫХОДЕЦ

(Истинное происшествие)

— А вы, полковник, верите в привидения?

Доктор обернулся и в упор взглянул на Николая Павловича.

— Верю ли я? — повторил вопрос Николай Павлович. — Над этим... я никогда не задумывался и уклонюсь от ответа, но, если хотите, могу рассказать про случай, происшедший на днях... Кстати, свидетелем этого необычайного происшествия был ваш коллега Р-ский.

— Интересно послушать! — подхватил доктор. — Тем более, что я хорошо знаком со взглядами моего приятеля! Его не проведешь! Ни в Бога, ни в черта не верит!

— *Не верил* — хотите вы сказать! Так как после этой таинственной истории... Впрочем... не буду испытывать вашего терпения и приступлю прямо к изложению фактов... Надо вам сказать, что ровно неделю тому назад я, как всегда, около девяти часов утра, отправился в офицерское собрание. По дороге меня догнал товарищ, капитан Б-ов, и дрожащим от волнения голосом стал рассказывать про только что виденный сон:

— Представь себе, Коля! — нервно выкрикивал он. — Всю ночь... понимаешь... всю ночь я видел *смерть*. Да! Да! Да! Смерть!.. Погоди! Не смейся!.. Это что-то необычайное!.. Это не *простой* сон.. Клянусь тебе! Только что я задремал, вижу, входит денщик поручика С-ова и шепчет мне на ухо: «Ваше высокоблагородие, *она* вас спрашивает! Звал *ее*» сюда, стоит в дверях! Нейдет!» Я заглянул в переднюю и сразу же догадался, что это... *смерть*!

Высокая, стройная... вся закутанная флером... голова слегка просвечивает... Спрашиваю, что «*ей*» нужно?.. Молчит! Делаю несколько шагов:

— «Меня ищете?..» Отрицательно качает головой! Тогда я становлюсь смелее, подхожу к «*ней*» вплотную и вдруг... меня охватывает таким ужасным, таким *могильным* холодом, что я застываю... И так мы в полном безмолвии стоим друг перед другом всю ночь. Понимаешь ли ты, Коля... всю ночь!.. Я ведь сейчас только проснулся! Голова горит! Сердце замирает!.. Бегу в собрание! Буду глотать бром и на занятия не пойду!.. Не могу!..

— Конечно, конечно! — постарался успокоить я капитана. — Сейчас же потребуй доктора!.. Это «*кошмар*»! Самый обыкновенный «кошмар»!.. Но... так как ты, за последнее время, вообще жалуешься на нервы, советую обратить на себя серьезное внимание!..

Беседуя таким образом, мы дошли до последних ворот офицерского флигеля и только что хотели свернуть за угол, как лицом к лицу столкнулись с денщиком поручика С-ова!.. Ничипко, с криком «Фершала!», «Доктора!», стрелой пронесся мимо нас и на мое требование остановиться только отчаянно махнул рукой...

— Ага! Что?!? — впился в меня глазами капитан. — Что?! Я говорил! Говорил!.. Бежим к С-ву! Скорей бежим! Там... наверное... Там несчастье! Катастрофа!.. Бедный С-ов!..

Мы повернули назад и через три ступени помчались на верхний этаж...

У квартиры С-ова толпились денщики... Спрашиваю их, что случилось?

— Убийство! Поручик застрелимшись!

— С-ов?

— Никак нет! С-ов в карауле! А это их приятель... саперного батальона поручик К-цев! Прикажете проводить?

— Ведите!

Вошли. Поперек дивана лежит юный блондинчик. Глаза полуоткрыты, в правой руке зажат револьвер. На левой щеке три родинки, две в ряд, третья внизу под ними. Не знаю почему, но я особенно долго рассматривал эти родинки...

Явился Ничипко в сопровождении доктора и дежурного по полку. Началась обычная канитель...

Я увел капитана в собрание, а сам поехал в штаб.

Здесь встретил меня дивизионный врач и ваш приятель доктор Р-ский. В штабе о самоубийстве сапера было уже известно и потому вполне естественно, что меня засыпали вопросами: как? что? почему? Я сообщил все, что знал, не преминул рассказать и о *веще* сне капитана. Р-ский на меня накинута:

— И вы связываете этот сон с происшествием! Удивляюсь! Вот именно таким-то путем и проникает в общество *суеверие*. Стыдно, полковник... Впрочем, мы об этом потом поговорим! Ведь вы сегодня вечером будете у Веры Орестовны? Ну конечно, будете! Вот я вас там и попроберу основательно...

— Пробирайте, сколько вашей душе угодно! — засмеялся я. — А я все-таки буду утверждать, что сон капитана *вещий*.

Мы расстались, дав слово быть у Веры Орестовны и один без другого партии в бридж не составлять.

К Вере Орестовне я приехал поздно и сейчас же принялся разыскивать Р-ского.

Мне сказали, что доктор был, ждал меня, сильно волновался, а потом... куда-то исчез.

— Рассердился и уехал! — подумал я. — Надо спросить прислугу.

Позвал лакея:

— Люциан Феликсович Р-ский уехал?

— Нет! Они здесь! Вон шуба их висит!

— Куда же он делся?

— Где-нибудь в комнатах... Может быть, в чертежной по телефону разговаривают! Прикажете, я схожу!

— Нет, не надо... Сам пойду!

Когда мы с Верой Орестовной осветили коридор, то в конце его заметили Р-ского. Он стоял около чертежной и что-то быстро записывал в книжку.

— Куда вы, несносный, пропали? — крикнула ему Вера Орестовна. — Бедный Николай Павлович с ног сбился, разыскивая вас!

— А я так нисколько не жалею полковника, — бросил на меня сердитый взгляд Р-ский. — Он сам виноват! Надул! А вот вы мне лучше скажите, дорогая хозяйка, где вы уловили такого очаровательного юношу...

— Какого юношу? — удивилась Вера Орестовна.

— Ах, Боже мой! — нетерпеливо перебил Веру Орестовну Р-ский. — Я говорю о поручике!

— Каком поручике?! — уже с тревогой в голосе произнесла Вера Орестовна. — Никаких поручиков я не знаю! Из военных у меня бывает только Николай Павлович! Это вам так же известно, как и мне!

Р-ский взволновался:

— Что вы мне говорите!! К чему мистифицировать?! Ведь я вот только что разговаривал с очень умным и любознательным офицером... Только что!! Он и сейчас здесь... в чертежной... Хотите... зайдемте!.. Он даже завтра обещал быть у меня... Я дал ему свою карточку... он извинился, что не захватил своей, и попросил записать его фамилию... вот.

Люциан Феликсович достал блокнот и прочел:

— «Петр Степанович К-цев».

— Как? — вздрогнул я. — Как вы сказали? Да ведь это фамилия того...

Мне чуть не сделалось дурно. Я вынул из бокового кармана черновик рапорта и протянул его Р-скому. Доктор прочитал бумагу и побелел, как полотно.

— «Поручик Петр Степанович К-цев», — прошептал оп.

— Что с вами? — кинулась к нему Вера Орестовна.

— Ничего! ничего! — подхватил меня под руку Р-ский. — Серьезно — ничего! Позвольте мне остаться наедине с полковником... потом... я вам все расскажу!..

Вера Орестовна пожала плечами, повернулась и вышла из коридора.

— Идемте! Тотчас же идемте! — вцепился в меня Р-ский. — Я... хочу вам показать... Я вам докажу... Идемте в чертежную!.. Ведь это «он»!.. Самоубийца!..

Я открыл дверь. В комнате было темно. Повернул штепсель. Яркий сноп электричества осветил ряд столов и шкафчик телефонного аппарата.

В комнате никого не было!

— А моя карточка?! Где моя карточка? — зашептал трясущийся, как в лихорадке, Р-ский.

— Вот она! — указал я на телефонный шкаф.

Р-ский ринулся вперед, схватил карточку и стал внимательно ее рассматривать.

— Следы пальцев! Клянусь вам, что есть следы «его» пальцев! — дико вскрикнул он и вдруг расхохотался безумным смехом.

— Успокойтесь! Опомнитесь! — схватил я его за плечи.

— Нет! Нет! Оставьте меня! — продолжал захлебываться в хохоте доктор. — Ведь я «их» видел! Да, видел! Эти *три родинки!*.. Помните, вы говорили....Теперь я уверен, что это «ОН»... «ОН»...

Я крикнул о помощи...

Р-ский трое суток пролежал в бреду. Теперь он оправился... Можете поехать к нему и спросить вашего коллегу, верит ли он в *выходцев с того света?*

Доктор ничего не ответил, а полковник, бросив окурок папиросы в камин, медленно вышел из кабинета.

Всеволод Трилицкий

РАСПЛАТА

—Чертовщина? А что сказали бы вы, если бы с вами приключилась такая история...

Старичок лет шестидесяти в военной тужурке, с седыми, пробритыми посередине бакенами, коротко выстриженной головой и щетинистыми, точно насупленными бровями, из-под которых глядели кроткие выпцветшие глаза, посмотрел на молодые насмешливые лица, окружавшие стол с двумя садовыми подсвечниками по краям, отодвинул недопитый стакан чая и начал:

—Стоял в те времена полк наш в В. Не то, что в самом городе, а верстах в пяти, в слободке. И люди, и кони размещены были по обывательским дворам; господа офицеры тут же на частных квартирах жили...

Помню, снимал я домик из двух комнат, третья кухня. В комнаты через кухню ход. Да мне что! Холост был, дома не столовался. В кухне денщик спал, да седлю на козлах стояло — вот и все.

Только прихожу я домой, помню, как сегодня, 22-го июля это было, гляжу на стол — записочка лежит и так старательно выведено на ней: «29-то Июлия. Григорий».

«Что за чепуха такая?» — думаю.

— Кузьма, — кричу, — кто тут был без меня?

— Никого, — говорит.

— Как никого? А это что? — показываю ему записку.

Посмотрел на записку, неграмотный он был, да и спрашивает:

— А вы не сами писали это, ваше благородие?

— Что ты, — говорю ему, — сам буду я писать, а потом у тебя спрашивать: «Кто написал?» Пьян ты, что ли, или рехнулся?

— Никак нет, — говорит, — и не пьян, и не рехнулся, а только кто написать мог, коли я ни на шаг не отлучался от дома, — все время вдвоем с земляком на крыльечке сидели и никто сюда не заходил.

Подумал я над этим, да потом разорвал записочку и забыл.

Прихожу на следующий день домой, и точно меня толкнуло что-то: первым делом взглянул на стол — опять запис-

ка. Схватил я ее и как-то жутко и неприятно стало мне. Тем же почерком выведено: «29 Июлия. Григорий».

Разорвал я записочку, а только денщику ничего не сказал. Верный был Кузьма, хороший и преданный человек, точно родной, — седьмой год был у меня в денщиках. Думаю: шутит кто-нибудь надо мною. Перебирал в уме, да и заподозрил хозяйского сына. Озорной был мальчишка и застал я его однажды, как он, свесившись через окошко, папиросы со стола воровал. Стой, думаю, голубчик, задам я тебе ходу. Как раз воскресный день подошел. Кузьму я отпустил, остался сам дома, уселся в уголок на тахту*, да про всякий случай нагайку приготовил. Так просидел полдня... Все на окна поглядывал — не пожалует ли шутник.

Только никто даже близко к моему домишке не подходил. Наскучило мне это дежурство. Решил пойти куда-нибудь. Только приблизился к столу, чтобы зеркало взять, гляжу: записка. Верите ли! — так холодом меня и обдало; волосы на голове зашевелились, да мурашки по спине пошли.

«Что же это такое? — размышляю. — Сам сидел, глаз с окон не спускал — откуда же взялась записка-то? И что значит она? “29-го Июлия. Григорий”! — чепуха какая-то, бессмыслица!»

Не по себе стало мне. Знаю, что один я в квартире, а чувство такое, что кто-то стоит сзади, да и только.

Оделся на скорую руку, да к соседу-товарщику.

Там сидят несколько офицеров, а между ними поручик Старицкий, красавец мужчина, за одной мы дамочкой ухаживали, стало быть, соперник мой.

— Это вы, дядя, ухаживали? — зазвенел насмешливый голосок подростка-барышни.

— А ты думаешь, стрекоза? Еще как приударял в молодости...

Старичок закрутил баки штопором и, молодцевато крякнув, продолжал:

* Нечто вроде дивана, оттоманки (Прим. авт.).

— Потяни это меня рассказать про необыкновенный случай с записочками. Всяк принял его по своему, — кто посмеялся, кто задумался, кто просто промолчал, а один молодой офицерик, — серьезный такой был, все книгами зачитывался, — этак убежденно говорит мне: «Бесприменно это дух умершего вашего предка или приятели какого-нибудь предвещают вас об опасности».

Засели мне эти слова в голову. Просто день и ночь думаю о них. Все вспоминал, кто бы это мог быть Григорий. Всех перебрал и не нашел ни среди родных, ни среди знакомых покойников. Только мысль эта о предостережении так у меня гвоздем в голове сидит. И порешил я тогда все двадцать девятое июля из дому не выходить. И, как только я принял такое решение, так записочки и перестали появляться.

Накануне двадцать девятого был вечером я в городском саду. От слободки нашей до города версты три считалось ущельем по берегу горной речонки. У нас, кавказских драгун, не было в моде, чтобы офицерство экипажи держало. И в гости, и в город, — всюду верхом с вестовым.

Так вот, в городском саду встречаю я своего тогдашнего кумира — дамочку, — со Старицким и еще двумя-тремя офицерами. Завидела она меня и кричит:

— Александр Николаевич, мы завтра на пикник отправляемся, конечно, вы с нами?

Вспомнил я, что завтра двадцать девятое, смутился, да так и стою перед ней, мнусь, не знаю, что ответить. А она посмеивается, да этак небрежно:

— Ах, да! Слышала я, что вам все духи какие-то насчет двадцать девятого являются... В самом деле, если вы боитесь, так лучше вам не ездить..

Вспыхнул я: тут и гордость молодая, и самолюбие, да и ревность. Взглянул этак на Старицкого, — думаю: «Некому иному разболтать, кроме тебя», и отвечаю ей, так, видимо спокойно, даже с улыбочкой:

Вот потому-то я именно охотно и поеду...

Вознаградила она меня таким многообещающим взглядом и стали мы улаживаться, где собраться, в котором

часу, да куда ехать.

Порешили на том, чтобы, когда спадет жар, часам к семи вечера, собраться в городе, подле ее квартиры, где уже будут ждать нас ямщицкие тройки. Откуда проедем верст семнадцать до первой почтовой станции, там поужинаем и вернемся при луне домой.

Пока веселился я в городском саду, да потом ужинал в клубе, — ничего, а вот когда отправился домой, так дорогой взяло меня раздумье. Не исполнил я таки предупреждения, думаю, а теперь ничего и не сделаешь: не дав слова — крепись, а дав слово — держись, — ехать на пикник надо.

Приехал домой, раздеваюсь, а сам боюсь даже на стол взглянуть. Только не утерпел: глянь! — она самая. Схватил я записочку, изорвал в сердцах, завернулся с головой в одеяло и стараюсь заснуть. Но не тут-то было, маялся, маялся, должно быть, под утро заснул и как, сам не помню. Только проснулся я совсем необычайным способом...

Голос рассказчика осекся, точно охваченный волнением далеких воспоминаний.

Налетел ветер, загудел в вершинах сада, захлестнул конец скатерти на стол, и с жалобным звоном покатались пустые стаканы. Пламя свечей колебалось в стеклянных шарах, скользили причудливые тени и лица молодежи, серьезные, побледневшие, то прятались в тень, то выглядывали из полумрака. Когда порядок был водворен, старик продолжал:

— Тормошит мой Кузьма меня за плечо и этаким испуганным штосом кричит: «Опамятуйтесь, ваше благородие, опамятуйтесь! Водички вам?..» А меня так всего и трясет, точно озноб. И не могу я понять, что со мной и где я. Никогда ни перед этим, ни потом ничего подобного не испытывал.

Привел меня кое-как Кузьма в чувство — водой отпоил, и понял я, что все это был только сон.

А снилось мне, что, после ужина на тройках мы возвращаемся с пикника домой. Первой летит тройка, в которой я, Старицкий и дама. Луна светит всюю и видны и дорога, и окружные скалы, и река под глубоким обрывом поблескивает внизу. Ясно это все так, как будто и в самом

деле я их вижу. Только смотрю я на небо — собираются тучи, черные, грозовые.

— Быть грозе, — говорю я своим спутникам.

А дамочка этак весело смеется:

— Ну что ж? поможем немножко, по крайней мере, еще одно приключение...

Только мы успели это переговорить, как померкла луна и хлынул дождь, точно из ведра. Ямщик гикнул, припустил свою тройку и скачет она во всю прыть. Видим мы при блеске зарниц, что близится город. Места хорошо знакомые! Внизу под дорогой глубокая расщелина, из которой только грохот доносится, а реки и не видно; над дорогой отвесная вырубленная скала, вершина которой местами, точно грот, нависает над ущельем, местами поката и усеяна обломками скал.

Грянул гром. И слышим мы вслед за ударом, гудит что-то с вершины, словно ураган несется на нас. Подняли головы и замерли: прыгая и отскакивая, точно гигантский мячик, катился с горы сорвавшийся обломок.

Это было мгновение, — только мгновение. Но чего оно стоило! Мне казалось, что грудь остановилась, что дыхание замерло, что сжимаемый тяжестью обвала воздух готов сплющить меня прежде, чем накатится черная масса. Почуяли кони. Точно птицы рванулись они и, при свете новой зарницы, на мгновение тройка наша, как самолет, повисла над пропастью. С поразительной ясностью чувствовал я, как отделился от экипажа, как, нелепо распростерши руки и ноги, вращаясь, то головой, то ногами кверху, летел в гудящем мимо ушей воздухе... потом все слилось...

Днем ходил я как потерянный, — передохнув, продолжал рассказчик, — все вспоминался мне сон, но потом пообедал, выпил для храбрости кахетинского и отошел. Не хотелось мне ехать, а только я себе даже не представлял возможным не сдержать слова.

В половине седьмого подал мне вестовой к крыльцу Бикэ. Славная лошадь! — настоящий Карабах. Рубашка точно золото горит, на лбу проточинка, храпок, что атлас бледно-розовый, кровью пышут ноздри, глаз живой, выпуклый.

Ноги — точно сталь! — копыто не мягче кремня... Лучше лошади не надо: добронравная, смелая, совкая. А «Бикэ» это я уже выдумал — мода тогда была на татарские имена...

Только шажком вошли мы в ущелье, как всхрапнет моя Бикэ и, точно под уздцы схватил ее кто, на месте стала. «Что за притча?» — думаю. Никогда с ней этого не случилось.

Хотя и вечереть начинает, а светло совершенно. Дорогу на версту впереди видно: ни зверя, ни человека, ни птицы. Речонка еле урчит, по обрываю редко-редко куст шиповника повис. Балует, думаю, в конюшню просится, так отучу тебя от этого. Дал шпоры ей. Рванулась Бикэ с места, сделала скачок вперед, взвилась на дыбы, да этак, точно циркуль, поворот назад и подхватила меня. Едва сдержал я ее на полуверсте. Нет, думаю: шалишь! — я тебя заставлю! Повернул, дал ей шпоры, хлыст, повод начеку держу.

Только доскакал до того же места, как моя Бикэ опять — пируэт и в обратную сторону. Раз пять мучился так, рассвирепел, да и стыдно перед вестовым. Как это так, с лошадьё офицер справиться не может.

Измучился совсем я. Конечно, можно было домой вернуться, да переменить коня, но каприз, как думал я, лошади оставлять нельзя было — сноровится.

Слез я, спешился и вестовой, — думал, в поводу проведем: и били, и понукали — ни с места; хранит, волос ершит, дрожит да пятится.

Один способ оставался.

— Садись, Зеленчук, — говорю вестовому, — да ступай вперед, а я попробую за тобою на Бикэ.

Но и вестового лошадь не пошла. Храпит, кидается — откуда прыть взялась только у казенного одра.

Думаю, бились мы этак часа полтора. Незаметно, без сумерек, настала ночь. На юге всегда бывает так, — спряталось солнце, точно прикрутили огонек, — ровный, хотя и серый свет, а потом сразу, словно хухнули да потушили.

Тишина в ущелье, только вода побулькивает на камешках. Даль густым туманом заволокло, а скалы, точно отвесные стены, к небу тянутся и лишь полоска неба посветлее,

да на этой полоске звездочки вспыхивают, словно в темноте кто-то спичкой чиркает.

И вдруг хохол мой этак по-бабьи как заголосит:

— Ой, лышенько! Ваше бродие! Переверт!

— Что ты плетешь, Зеленчук?

— Ой, лышенько! А чи не бачите?

Взглянул я, куда он пальцем тычет. В сумраке чернеет при дороге какой-то куст, а над ним... ну, как бы вам сказать, словно кто-то длинной, тонкой, да прозрачной сорочкой в воздухе колышет, то подыметесь, то приспуститесь, то один, то другой рукав в воздухе вытянет, — точно руки простирает, нащупывает, схватить силится...

Не робкий я человек, а волосы дыбом поднялись у меня. Такая жуть охватила, что и сказать нельзя. Не помню, как вдел я ногу в стремя. Глянь! — а моего хохла и след простыл. Только потом его у въезда в слободку нашел, — бледный, как полотно, зубами щелкает.

— Что делать? — хриплым и прерывистым старческим говорком продолжал гудеть рассказчик, — зажег я спичку, взглянул на часы — девятый час. «Конечно, не станут они меня дожидаться, должно быть, давно уехали, теперь уже ужинают», — подумал. Расскажу им завтра все, как было. Хотя и стыдно кавалеристу сознаться, что лошадь у него не пошла, а только такие чрезвычайные обстоятельства... И, как подумал я это, как решил вернуться домой, так легко и радостно стало у меня на душе.

Заехал тут же в слободке к одному товарищу «на огонек», в картишки сыграл, поужинал и часа в два уже спал сном праведника.

Только под утро будят меня. Гляжу: несколько товарищей-офицеров, — лица встревоженные, бледные.

— Что? Что такое случилось? — спрашиваю.

И рассказали они мне, ну точь-в-точь, что я видел во сне. На таком же самом месте и так же все дело, должно быть, было. Только меня там не доставало. Бедняжка Старицкий и Мария Матвеевна, барынька-то наша, — царство им небесное, — и ямщик вместе с тройкой да лошадьми в речке на дне пропасти исковерканными оказались...

— А другие, а другие? — с потемневшими от жалости и страха глазами спросила молоденькая дама.

— Две тройки еще было. Только они и с места немного запоздали, да и потом в дороге поотстали. Грохот-то слышали, да невдомек им. А как потом лошади-то у них стали — вылезли, смотрят: полдороги скалой-то оборвало, а остальная половина засыпана каменным градом, потому что, когда такой обвал летит, он за собой еще камни, что поменьше, тянет.

— Ух, как страшно! — воскликнул гимназист лет семнадцати.

— Дядюшка, а кто же был этот таинственный Григорий? — не унималась барышня-подросток.

— А вот подожди, стрекоза, я еще не досказал ведь... Прошло месяца два, прежде чем я сам узнал это... Получал от матушки своей письма я редко, — почта в те времена какая была! Так вот, после всех этих событий получаю я письмо и, между прочими делами домашними, о которых старушка мне подробно обыкновенье имела оповещать, пишет она: «Июля 22-го умер у нас от воспаления желудочного Григорий», и тут же мне припоминает: «Может, помнишь, тот самый Григорий, с которым в детстве ты так много проказил и еще его из пруда вытащил».

Тут-то я себя по лбу и хлопнул. Так вот же какой это Григорий! Гришка! — тот самый Гришка, с которым мы все деревья облазили, разоряя гнезда, который в пруду чуть было не утоп, если бы я его не вытащил... Вот кто — Григорий!

— Он расплатился с вами тем же, — сказал кто-то.

Но старый ветеран не отвечал. Глаза его были устремлены вдаль, как будто в причудливых тенях, в борьбе света с мраком, он видел далекое детство, босоногого Гришку, мрачное ущелье, где веял его дух и где под ним вздымалась на дыбы золотистая Бикэ.

Пробежал ласковый ветерок, где-то поблизости сорвался с дерева зрелый плод, зашуршал задетыми листьями и глухо стукнул о землю. Ночная птица низко пронеслась над скатертью, пугливо ринулась в темноту и уж издали донесся ее странный, плачущий крик...

Александр Федоров

ПРИЗРАК

Я люблю свое одиночество, привык к нему и дорожу им, но это было не всегда. Несколько лет назад я не знал, куда мне деваться от одиночества, и сходил с ума, не видя около себя близкого человека.

Особенно тяготило и угнетало меня это одиночество в первый год по смерти жены, которой я лишился так внезапно и ужасно, спустя несколько месяцев после брака. Любовь к ней была последняя улыбка моей молодости, и потому я дорожил воспоминанием о ней, как незаменимой святыней, которая была для меня выше всех действительных радостей жизни, ожидающих впереди. Мы думаем, что, приближая к себе могилу любимого человека, все еще как-будто соприкасаемся с ним, забывая, что то, что в нем люббили, давно не существует, а прах ужаснул бы нас и внушил бы отвращение через несколько дней после смерти. Но, по счастью, любовь и привычка сильнее всяких реальных соображений. Они заставили меня воздвигнуть склеп в виде небольшой часовни, где постоянно горела лампада, освещающая дорожку к могиле, так как в узкие, забитые железными решетками окна едва проникал туда свет. В эту часовню вела массивная железная дверь, от которой ключ был у сторожа, не дававшего погаснуть лампаде, и у меня. Когда угодно я мог приходить в этот склеп и проводил там по несколько часов, никем не видимый, никем не замечаемый, наедине с моими воспоминаниями, которые здесь приобретали особую остроту и ясность, едва не доходившую до галлюцинаций.

Кроме этой могилы, другим памятником жены служил мне ее портрет, написанный мною, когда она была еще невестой моей.

Если любовь когда-нибудь возбуждала творчество, так это особенно ярко отразилось на моей работе. Портрет моей жены — лучшее из всего, что я когда бы то ни было написал, и вы помните, какой успех этот портрет имел на выставке: он положил начало моей известности и, больше того, заставил меня самого поверить в свои силы.

Этот портрет всегда был предо мною, и, глядя на него, я до того забывался иногда, что разговаривал с ним, как с

живым существом, и мне казалось, что голубые глаза с полотна ласково и нежно глядели на меня, а розовые губы улыбались своею кроткой и милой улыбкой, которая свойственна только людям, осужденным к преждевременной могиле.

Но зато, когда я приходил в себя от этого минутного забвения, горечь и тоска одиночества охватывали еще сильнее. Я уходил в склеп, но и там ждало меня то же настроенное, и в отчаянии я готов был разбить себе голову о каменную плиту. Жизнь теряла для меня всякую цену, искусство — всякое значение и привлекательность, точно от всего этого отлетела живая душа.

Мои знакомые и приятели пробовали меня развлекать, чтобы как-нибудь вывести из этого безнадежного состояния, но все их усилия не приводили ни к чему: я считал чуть ли не оскорблением ее памяти всякие развлечения и гнал улыбку с лица, если она нехотя появлялась на нем.

Я почти с отрадой думал о смерти, как о единственной возможности слияния и общения с нею. Я стал мистиком и почти безумным, перестал узнавать знакомых и неумышленно и умышленно рвал постепенно связывавшие меня с ними нити, чтобы в конце концов порвать самую последнюю нить, привязывавшую меня к жизни. И не будь ее портрета, который я не мог унести с собой в могилу, этот конец настал бы очень скоро.

Портрет не пускал меня из жизни: ведь в нем была частичка ее души, но и эта связь надрывалась. Требовалось что-нибудь необыкновенное, потрясающее, что разбило бы сразу охватывавшее меня оцепенение безнадежности, рассеяло туман горя и отчаяния, закрывавший от моих глаз все мирское, открыло мне новые перспективы жизни и обновило то старое, что когда-то имело для меня смысл.

Я встретился с ней в первый раз в ночь под Новый год в одном знакомом семействе. По старой памяти и в этот вечер я получил приглашение от этих милых и гостеприимных людей, простивших мне, что я забыл и о них в своем одиночестве.

Однако я решил провести вечер дома и, запасшись шампанским, поставил его вместе с двумя бокалами на столик, накрытый между мольбертом, на котором всегда стоял портрет, и моим креслом.

С вечера я заперся в своем кабинете, спустил занавеси, жарко растопил камин и зажег все имевшиеся у меня канделябры, так что комната вся была залита праздничным светом и теплом.

Тогда я отдернул темную занавеску, закрывающую портрет от посторонних глаз и от глаз прислуги, когда она входит ко мне, и милое лицо так живо и приветливо взглянуло на меня с полотна своими голубыми глазами, что я задрожал от жуткой радости, хлынувшей в мою душу.

Впечатление было так сильно, что мне показалось, будто я вижу это лицо в первый раз столь глубоко и полно. Я даже угадал в нем то, чего не замечал прежде не только на портрете, но и в оригинале, но что инстинкт художника бессознательно запечатлел в минуту настоящего творческого подъема каким-нибудь одним счастливым ударом кисти, одной чертой, даже точкой...

И это новое, что открыл я теперь, говорило, что жизнь — не в одном личном счастье, не в одних эгоистических чувствах. И я прочел в этом косвенный упрек себе, но он меня мало тронул; я был даже рад ему, так как он еще более оживил ее лицо и осветил в моей памяти воспоминание о ней новым светом. Я не сводил глаз с портрета, я спрашивал его о чем-то и вел с ним нескончаемый безмолвный разговор глазами, но, наконец, ее глаза перестали отвечать мне, и страшная тяжесть одиночества стала обвинять мое сердце, как удав обвивает свою жертву, стискивает ее в комок и смачивает своей ядовитой слюной, прежде чем проглотить еще живое, но уже раздавленное существо.

Мне стало невыносимо обманывать себя этим призраком. Я поспешил задернуть портрет. Но до полночи было еще далеко. Я чувствовал, что не могу больше оставаться один в четырех стенах, и, не погасив свечей, поспешно, точно боясь опоздать куда-то, отпер дверь, надел шубу и вышел

на улицу.

Ночь была морозная. Звезды яркие и лучистые. Казалось, что там, за синим пологом, разлился целый океан ослепительного света, и этот свет пробивался наружу сквозь беспорядочные и неисчислимые проколы в небе.

Каждый звук был отчетливо слышен в морозном воздухе: скрип саней, стук лошадиных копыт, даже шаги пешеходов, которые, кутаясь в шубы, спешили в тепло по улицам.

Я машинально пошел вперед, рассеянно и устало, может быть, благодаря продолжительной бессоннице в последнее время, и очнулся только тогда, когда очутился около подъезда тех знакомых, у которых я впервые встретился с моей женой.

Зачем я зашел сюда, я сам не знал; но уходить мне не хотелось, и я вошел в освещенный подъезд и с радостью был принят хозяевами, которые, как милые и благовоспитанные люди, не выразили ни удивления по поводу моего неожиданного появления, ни упрека по поводу моего продолжительного невнимания к ним.

Большинство гостей были те же, что и в прошлый год, когда я встретил среди них белокурую нежную красавицу с голубыми глазами. И все вокруг было как тогда: та же мебель, те же картины, цветы, ковры и безделушки... все... все... И как-то не верилось, что я не увижу здесь ее, что ее уже нет, в то время как еще жив и присутствует здесь тот маленький старичок в бархатных сапогах, со слуховым рожком в руках, который, в сущности, давно уже умер, а движется, шамкает и глядит только по инерции.

И я внутренне вздрагивал каждый раз, как слышал сбоку свистящий шелест шелка и видел силуэт какой-нибудь стройной женской фигуры, неожиданно выступавшей из другой комнаты.

Не может быть, чтобы я не увидел ее!

Я прошел среди гостей, возбужденных близостью ожидаемого часа, в ту комнату, где встретил когда-то ее... Это была библиотека, куда никому не было охоты заглядывать из шумных, ярко освещенных и нарядных комнат, где зву-

чали взволнованные речи, гремела музыка, сверкали улыбки и голые плечи опьянявших ароматом и теплотой тела женщин.

Я сел в то самое кожаное кресло, в котором сидел год назад, перелистывая последний номер «*Illustration*», когда невольно почувствовал сбоку чей-то пристальный взгляд, обернулся назад и на фоне тяжелых темно-красных драпри увидел тонкую женскую фигуру в белом шелковом платье, которая показалась мне видением. Пристальные голубые глаза с любопытством смотрели на меня, а полудетские губы чему-то улыбались. Сходство с видением стало еще больше после того, как она, заметив мое изумление и восторг, быстро повернулась и исчезла, и только легкий свист шелка, колебание драпировки да едва уловимый аромат фиалок, пахнувших землей, приколотых на ее груди, говорили, что то было живое существо. Так я и написал ее портрет, на том же самом фоне, в белом платье и с пучком фиалок.

«Ну, а что, если я сейчас так же буду рассматривать «*Illustration*», и обернусь назад и увижу ее!» — весь холодея от одной этой жуткой мысли и безусловно зная наперед, что это так и будет, подумал я.

Я стал перелистывать «*Illustration*», очутившуюся у меня в руках, и вдруг закрыл глаза от внезапно пахнувшего на меня аромата... закрыл глаза и ясно, как тогда, почувствовал, что она стоит за мной.

Это была минута высочайшего блаженства, перед которой ничто — даже минуты самого высокого творческого подъема, когда художник чувствует себя творцом, опередившим саму природу. И мне хотелось продлить эту минуту, и она была вечностью счастья.

Мне кажется, я бы умер, если бы обманулся, умер бы от разрыва сердца, которое как будто наполнило не только всю мою грудь, но и всего меня. Я весь был одно сердце, охваченное одним чувством невыразимого торжества.

Наконец, я испугался, что она уйдет, что я не увижу ее, и быстро обернулся назад.

Она стояла, как тогда, и тем же взглядом, той же улыбкой звала меня за собой.

И я встал и пошел за ней, и скоро мы оба были на улице, и я знал, куда она поведет меня.

Я шел, как лунатик, не сводя с нее глаз, шел в том же отдалении, как мы были в библиотеке, и это расстояние не увеличивалось и не уменьшалось, замедлял или ускорял я шаги.

Скоро мы миновали город и очутились в степи, и этот белый призрак был странно близок мертвой и белой равнине, над которой сияло ясное холодное небо.

И мне казалось, что сам я стал призраком и ноги мои, касаясь снегом покрытой земли, не производят никакого шума.

Мы шли знакомой дорогой, которой я ходил десятки раз: это была дорога на кладбище.

Вот мы и у ограды, запорошенной снегом, белыми шапками нахлобучившим каменные столбы. И везде было мертво, и на этой белизне ярко вырисовываются чутунные узоры высоких кладбищенских ворот. Я прошел за ней, и мы очутились на кладбище.

Впереди белеется, тоже как будто из снега, силуэт кладбищенской церкви, а вокруг нее, позади и со всех сторон, памятники, могилы, кресты... Целое царство мертвых, и как идет к нему этот белый, холодный саван, сверкающий от звездных лучей голубыми искорками!.. Белая тишина обнимает кладбище, и этот белый призрак, беззвучно скользящий по могилам, кажется здесь прекрасной царицей, холодный поцелуй которой уносит в вечность.

Не шевелясь, стоят, осеняя заиндеветыми ветвями могилы, деревья, точно боясь уронить хоть одну пушинку с ветвей. Все замерло, все застыло. Самое буйное и мятежное сердце ничего здесь не ждет и ни на что не надеется.

Глухо и страшно, точно зов из другого мира, донесся сюда из города колокольный звон.

Была полночь. Там теперь хлопают пробки, звенят бокалы и раздаются пожелания друг другу нового счастья, новых благ.

А тут — безмолвный, конечный неизбежный итог всей суеты и всех надежд. И здесь лучше, чем там.

Я иду за нею туда, к нашей часовенке, откуда чуть-чуть брезжит желтоватый свет лампы в узкое окно, забитое решеткой: каждый вечер сторож зажигает ее и очищает к ней дорожку.

Дверь, конечно, заперта... Но она дошла до этой двери и обернулась ко мне, точно приглашая за собою.

О, успокойся, милый призрак, я не расстанусь с тобой!

И, точно чувствуя это, призрак прошел сквозь чугунную дверь. Со мной был ключ, как всегда. Я сразу вложил его в замочную скважину. Послышался легкий звон, и я вошел в склеп, оставив ключ снаружи, но притворив за собой железную дверь.

Я больше не видел ее перед собой, но зато так ясно ощущал ее присутствие здесь, что это было мне еще приятнее. Я чувствовал себя не одиноким. Она была со мной.

И я, как на грудь к ней, припал к холодной плите и, в блаженном забытии, называл ее по имени и клялся ей, что скоро, скоро приду к ней...

И покоряющая тишина была вокруг, и неугасимая лампада светила, как бессмертное воспоминание.

Я не знаю, долго ли я лежал таким образом, но меня заставил очнуться едва слышный шум снаружи, затем легкий звон, за которым наступила еще более странная тишина.

И вдруг я весь похолодел от внезапно охватившего меня ледяного ужаса: не оставалось сомнения, что я заперт.

Очевидно, сторож, обходя кладбище, заметил оставленный мною снаружи в замке ключ и, думая, что он забыл запереть дверь, запер меня и ушел.

Кричать! Но, пока я опомнился, он был уже далеко. Да если бы он услышал мой крик, этот крик только напугал бы старика. Однако я крикнул. Но голос мой глухо и сдавленно прозвучал в каменных стенах крошечной часовни, заставив задрожать пламя лампадки, от чего по углам заметались тени.

Невыразимый ужас охватил меня еще сильнее. Собственно говоря, мне нечего было особенно отчаиваться. Самое худшее, что могло случиться, так это то, что я провел бы всю ночь, даже, предположим, целые сутки в холодной,

глухой часовне.

Замерзнуть я не мог, на мне была теплая шуба. Наконец, мне ли было бояться смерти, когда я ждал ее как избавления и добровольно шел ей навстречу.

Однако, эти мысли пришли ко мне уже значительно позже, а в эту страшную минуту я почувствовал себя вдруг заживо погребенным, и под влиянием этого чувства необъятная жажда жизни и свободы охватила меня с такой страшной силой, что я, как в агонии, заметался по склепу, крича нечеловеческим голосом о спасении. Я бил кулаками в промерзлые насквозь каменные стены и железную дверь и, наконец, разбил заиндевевшее стекло, в которое ворвалась струя холодного воздуха и, в довершение моего ужаса, погасила лампадку, и я остался в темноте.

С меня давно слетела шапка, и я чувствовал, как волосы на моей голове шевелятся и встают дыбом, точно их хватает и шевелит неведомая рука, от бесконечного страха смерти, беспредметного ужаса в соседстве с мертвецами. Собрав последние силы, я опять рванулся куда-то вперед, ударился о железную дверь и снова стал колотить в нее до полного бессилия, до опухоли и боли в руках и ногах. В то же время я хрипло выкрикивал что-то и умолял кого-то о спасении костеневшим языком до тех пор, пока в изнеможении не повалился на пол, чувствуя, что задыхаюсь в этом склепе.

Я был болен долго после того, как сторож, понявший свою ошибку, через несколько минут, которые показались мне вечностью, поспешил назад и застал меня в обмороке. Но это излечило меня от отчаяния... Может быть, спасло от самоубийства.

Александр Федоров

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

— Наконец-то ты приехал. Спасибо. Ты не поверишь, как я рад! Как рад! — с возбужденным лицом, но тихо и без обычной в таких случаях приветливой улыбки повторял Ладыгин, когда мы спустились по узкой тропинке с обрыва вниз, к самому морю, на песчаный и довольно унылый ночью берег.

Прямо перед нами широко и мутно расстилалось море, немолчно шумевшее и набегавшее на песок, смешанный с гравием, тяжеловатыми усталыми волнами, а позади нас стояли черные голые скалы, как бы сторожившие эту беспредельную и таинственную пустыню.

— Мертвая зыбь, — после минутного молчания произнес Ладыгин. — Не правда ли, как художественно это сказано?

— Да... правда.

— Поразительно! В этом движении и шорохе нет и признака живой души. Что-то мертвенное и подавляющее, как и эти скалы, как эта луна...

Он указал глазами на луну, озарявшую береговую даль: луна была бледная, словно с оттаявшим краем.

— Не правда ли, луна тоже подстать этой мертвой зыби и мертвым скалам... Она даже похожа на череп...

— Ну, уж это слишком.

— Нет, ты взглядишь хорошенько...совсем череп... в три четверти... Голый череп, провалившийся нос, глаза...

— У тебя расстроено воображение.

Он как-то неопределенно улыбнулся.

— Нисколько... странно, что ты этого не находишь.

— Если бы я прожил здесь столько же, сколько ты, наверное, стал бы находить и не такие ужасы.

Ладыгин молчал.

— Я не понимаю, что тебя могло занести из Петербурга в эту трущобу? Это так на тебя не похоже.

— Почему?

— Да прежде всего потому, что я знал тебя за человека, любящего общество, поклонение, женщин, у которых ты пользовался дьявольским успехом...

Мне показалось, что при упоминании о женщинах по лицу Ладыгина пробежала судорога.

— Произведения твои читались нарасхват. Словом, ты катался, как сыр в масле. И вдруг... до свиданья... Даже не сказался никому, куда, зачем и почему.

— Я не хотел, чтобы об этом знали.

— Я думал, что ты бежал, чтобы работать на свободе, потому что в последнее время перестал совсем почти писать. Оказывается, ты и здесь не написал ничего!

— Ничего.

— Ну вот! Так что же могло заставить тебя бежать в эту дикую нору? Каприз? Он продолжается слишком долго. Пресыщение? Ты слишком молод для этого. Любовь? Но ты живешь, по-видимому, как монах. Да и какие здесь могут быть женщины? Не те ли, что курят трубки и ездят с мужьями на рыбную ловлю...

— Ах, оставь это...

— Как хочешь, но здесь нечего делать так долго. Еще прожить здесь два-три месяца весной или летом, — я это допускаю с грехом пополам, но жить целый год, — слуга покорный, это с ума можно сбрендить. Ведь ты здесь круглый год жил безвыездно.

— Год, четыре месяца, шестнадцать дней.

— Ого! Ты так точно высчитываешь время со дня твоего отъезда из Петербурга! Видно, тебе не особенно весело здесь живется.

— Я не скучаю.

— Так что же тебя заставляет считать не только месяцы, но и дни? Так делают одни заключенные в тюрьме.

— Я и есть заключенный.

— И твоя тюрьма называется одиночеством? Добровольное заключение.

— Добровольное, правда. Но тюрьма моя не одиночество. Я искал здесь одиночества как свободы.

— И не нашел?

— Нет... Потому что я ношу тюрьму свою с собой. Ношу на своих плечах.

— Ты стал загадочен, как оракул, — попробовал было пошутить я, но он закончил, не слушая меня:

— И я не могу избавиться от нее. Она душит меня и в

конце концов раздавит.

Этот глухой голос, в котором прорвалось настоящее страдание, сразу пресек мой шуточный тон, и я не без изумления взглянул на своего приятеля.

Он неподвижно стоял боком ко мне, с повисшими руками, с глазами, смотревшими, так сказать, внутрь себя. Вся его высокая фигура как будто опустилась, точно действительно ему приходилось держать на плечах какую-то тяжесть.

Мне вдруг показалось, что я вижу Ладыгина, настоящего Ладыгина, в первый раз, хотя, конечно, меньше всего здесь имело значение то, что он был одет не в изысканный костюм, как я привык его видеть в Петербурге, а в потертую рыбацью куртку и простые высокие сапоги.

Вероятно, мой пристальный взгляд заставил приятеля обернуться ко мне. Его удивительно красивое, бледное, несмотря на загар и влажные морские ветры, лицо отразило искреннее страдание. Он заговорил порывисто и тяжело:

— Я просил тебя приехать, потому что мне хотелось перед кем-нибудь высказаться... Ты один, кто может хоть отчасти понять меня... объяснить... посоветовать... Нет, не то... Я знаю все сам... Мне просто хотелось облегчить душу...

Я молча протянул ему руку, и он крепко стиснул ее своей холодной рукой.

— Ты, может быть, думаешь, почему же я сам не приехал к тебе? Потому что только здесь я могу высказаться вполне. Наконец, я не за тем бежал из Петербурга, чтобы так скоро возвратиться туда.

— Но, однако, ведь не вечно же протянется здесь твое добровольное заключение?

— Кто знает...

— Но это безумие! Здесь можно умереть с тоски и сойти с ума от гнетущего впечатления этого моря. Одна эта мертвая зыбь способна волю расстроить нервы ночью, вместе с тишиной, скалами и даже луной. Здешняя природа и вся эта ночь вообще точно из Дантовского ада вышла. Жутко даже становится.

— Ага! Ты, значит, почувствовал эту жуткость.

— Разумеется, я не деревянный.

— Да, да... жутко. Жутко от мертвой зыби моря и еще более жутко от ветров...

— От каких ветров?

— От обыкновенных местных ветров. Ветер, вообще, заключает в себе что-то таинственное. А местный ветер особенный какой-то. Он никогда не ласкает... Он порывист, изменчив и спутан... Кажется, что он все время бестолково мечется взад и вперед, кружится и мятется, как слепой, потерявший дорогу, как преступник, замученный совестью... Я положительно не могу его без содрогания слышать, особенно ночью, когда он старается спрятаться в черных, траурных листьях деревьев, и они в ужасе трепещут, как живые... Мне кажется тогда, что я его вижу и... Да, да... не улыбайся.

— У тебя нервы расстроены. Тебе, положительно, следует бежать от этих нервных ветров и мертвой зыби.

— Куда?

— Да хоть в Петербург! За границу, наконец.

— О, там еще страшнее есть ветер!.. Такой же слепой и чудовищный... А вся эта шумная, суетливая жизнь! Разве она — не мертвая зыбь? Бессмысленная мертвая зыбь, не больше!

— Ну, эта аналогия больше мрачна, чем правдива.

— Нисколько! Такова эпоха... После бурного подъема, как, например, был у нас, наступило затишье, но жизнь, как море, ничем не волнуемое, все еще как будто движется, а на самом деле, все это движение — мертвая зыбь, потому что в нем нет никакой души...

— Ну, это уж слишком! Каково бы то ни было, — но там есть жизнь, есть интересы, борьба...

— И здесь есть то же самое.

— Уж не в море ли?

— В море. Не качай, пожалуйста, головой с недоумением. Шум и голоса моря мне не менее понятны, чем голоса и шум жизни.

— Ты хочешь сказать, что то и другое одинаково непонятно и бессмысленно.

— Отчасти... Хотя иногда, подолгу прислушиваясь к шуму, реву и ропоту волн, мне кажется, что я начинаю улавливать их язык и голоса, и музыку настроений.

— Смотри, не сделайся морским переводчиком.

— Ты шутишь... А я могу сказать тебе, что если бы был я музыкантом, композитором, — я написал бы дикую симфонию. Эти волны представляются мне какими-то заколдованными живыми существами, которые хотят оторваться друг от друга и не могут. Одна за другой волны рвутся к берегу, обнимают скалы, хотя уцепиться за песок и камни белыми мохнатыми лапами... скользят и падают вниз... Точно над ними тяготеет проклятие... За ними движется страшная сила таких же заколдованных существ, которые неудержимо тянут их обратно и сами рвутся к земле вместо них... И так без конца... И рев отчаяния потрясает берег, которому они жалуется на свою судьбу, и мольбы их летят к небесам, чтобы небеса сняли с них это проклятие и даровали им прежнюю жизнь.

— Но все их мольбы остаются бесплодны, — продолжал Ладыгин, мрачно глядя на море. — И, утомленные, они смиряются, и только, как сейчас вот, безнадежно и тоскливо шепчут что-то в полном изнеможении.

Видя его болезненное возбуждение, я хотел было переменить характер нашего разговора и в шутливом ужасе воскликнул, трясая головой:

— Бр... Ну, не говорил ли я, что ты действительно переводчик морской... И то сказать, коли не с кем разговаривать, так и морской язык изучишь! Эти утрюмые немцы-рыбаки с их чугунными лицами сами стали молчаливы, как рыбы, и мрачны, как здешнее море.

Между тем, волны накатывались на берег и что-то глухо и бессвязно шептали.

— Ты послушай этот шум!.. — торжественно и тихо продолжал Ладыгин, не глядя на меня и не сводя глаз с морской поверхности. — Ведь это не шум воды... Это шелест шелка, парчи... словом, материи... Совершенно сухой... А эта белая пена! Не кажется ли она тебе атласными шлейфами, которые, крутясь и извиваясь, бегут за теми заколдован-

ными существами, о которых говорил тебе я?.. А знаешь ли, за что они прокляты? — вдруг совершенно серьезно обратился он ко мне и, не дожидаясь моего ответа, убежденно и не без горячи произнес: — За чувственность.

— Что?!

— За чувственность...

— Опять чувственность?

— Опять...

— Ты не только, значит, изучил язык и психологию моря, но и историю тоже.

— Да, и историю...

— Поздравляю.

Но он вряд ли даже понял мою безобидную иронию. Он продолжал напряженно и внушительно передавать то, что, очевидно, давно сложилось у него в воображении:

— Эти волны когда-то были, вероятно, существами, подобными людям... Даже людьми, потому что только у людей чувственность — безумие и источник гибели... Эти существа, как люди, рвались к разнузданному обладанию друг другом... Достигли его, и, когда слились вместе, небо наказало их за это тем, что это слияние стало неразрывным...

— Это бред какой-то! — вырвалось у меня.

— Нет, к сожалению, это действительность! — тяжело переводя дух, возразил Ладыгин, проводя обеими руками по лбу и черным густым, волнистым волосам. — То есть, я хотел сказать, что это на земле... действительность, — как бы приходя несколько в себя, уставшим голосом пробормотал он, слегка отворачиваясь. — Чувственность — проклятие, тяготеющее над людьми и сделавшее их такими же бессмысленными волнами, а все человечество — океаном, стихией, которая день и ночь стонет то в бешенстве, то в изнеможении... Люди бьются один с другим, падают в чувственные объятия, расстаются и опять ищут битв и объятий, не замечая того, что они игрушки слепой и непреодолимой чувственности. Все остальное эфемерно... Но я, кажется, заговорил тебя... — вдруг оборвал свои фантазии Ладыгин. — Вот что значит почти не раскрывать рта по целым месяцам. Пойдем туда. Мне еще так много надо высказать

тебе...

Он пошел, не оглядываясь, вперед, вдоль берега, обрыв которого поднимался справа все выше и выше. Я следовал за ним, увязая в песке, полный недоумения и смущения.

Шагов пятьдесят мы прошли молча. Но у Ладыгина, очевидно, слишком уж накопело на душе за все его полторагодовое одиночество. Он обернулся ко мне с озлобленным лицом и сверкающими глазами, заговорил по-прежнему порывисто и нервно:

— Ты говорил давеча... женщины, Петербург, успех, любовь... От этого-то я и бежал. Я, как волна, хотел оторваться от этого проклятого океана: я понял, что губит меня... Женщины! Они были моим проклятием. Они отняли у меня кровь, душу, силы, талант... Я ничего не могу создать теперь... Я все растратил, я все сокровища свои втоптал в грязь. Я опошлел, отупел... От таланта у меня осталось только ремесленничество, а от меня ведь ждали чего-то большого... Я сам верил в то, что создам нечто крупное и бесмертное...

Он в искреннем горе заломил руки и долго так стоял неподвижно. Потом тихо и мрачно продолжал:

— И когда я понял это, я содрогнулся и решил бежать из Содомы, искать забвения, спасения... Спасения около настоящей трудовой жизни и дикой природы. Я поселился с этими рыбаками, трудился, как они, переносил их опасности, но то, что для меня являлось подвигом, самоотречением, для них было естественным законом. Каждый день этой жизни ложился на меня мучительным бременем, и я считал эти дни, думая ими раздавить в себе щекоотливое и раздраженного зверя, надеясь в конце концов слиться с природой, которую во мне извратила городская жизнь вместе с тем, что я считал своим благом и что на самом деле было моим горем. Прошло почти полтора года, и чувственность, которую я старался задавить в себе, не находя того исхода, который всегда имелся под руками в городе, вырвалась наружу... Я вдохнул ее в это море, в эти скалы, даже в эти небеса и звезды... — с болью закончил он, дрожа как в лихорадке, стиснув зубы и судорожно сжимая плечи.

— Она отовсюду преследует меня своим отравляющим дыханием и взглядами.

Меня ошеломила эта бурная исповедь. Я был так поражен, что не нашелся сказать ничего, кроме малозначащей фразы:

— Слушай, мой друг. Ты все преувеличиваешь.

Он ничего не отвечал и продолжал лежать неподвижно.

— Тебе необходимо отсюда уехать... Это море и одиночество расстроили тебя вконец.

— Ах, куда же я уйду! От себя не скроешься... Да и кроме того, везде, где есть люди, где есть женщины, созданные только для чувственности, — везде меня встретит одно и то же. Мертвая зыбь... Чувственность, вот тюрьма, в которую я сам заключил себя, запер на замок и ключ бросил смерти. Помню, в детстве... Мне было всего лет тринадцать, и я заболел оспой. Первой мыслью моей было, что я могу быть после этой болезни уродом. Одно представление о том, что я стану рябым и меня не будут любить женщины, которые чуть ни с колыбели ласкали меня и награждали поцелуями, — одно это доводило меня чуть не до сумасшествия. Я решил тогда же, что застрелюсь, если оспа изуродует меня. О, лучше бы я сделал, если бы застрелился, потому что теперь меня не хватит и на это, потому что теперь я способен делать только одни гадости и ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь, кроме женщин. И не любви, а именно женщин!.. — с самобичующим цинизмом и твердостью воскликнул он. — Это одиночество оказало мне только одну услугу: оно научило меня как следует оценивать свои гадости. Я из минутной прихоти приносил людям страдания, слезы, горе... Обманывал с чужими женами мужей, клялся нелюбимым, что люблю, и все это не только прощал себе, но и ставил чуть ли не в заслугу, потому что другие называли эти гадости победами, окружали меня за них ореолом, завидовали мне. Победа! И Иуда так же победил Христа. Он поцелует предавал Его на крест за 30 серебряников. Я поцелует предавал на страдания за минутный каприз. А теперь? Если я сделаю это теперь, — я заплачу за

все страшной ценой. Может быть, даже сойду с ума! Ах, я хотел бы теперь забвения, только одного забвения! Нирваны... Вот, как там.

Он поднялся на локоть и слабым жестом указал на море, которое было как-то странно бесцветно, точно оно и было, и не было его... Если бы не волны, которые все еще вздыхали и шуршали по песку своими белыми, крутящимися шлейфами, можно было бы действительно подумать, что там какая-то странная манящая пустота. Даже не бездна, а именно пустота, без звука, без глубины, без мысли... Эту мертвенную бледность придавал туманному морю месяц, светивший как-то сбоку холодным и тускло безжизненным светом. Этот месяц стоял теперь над самым обрывом, возвышавшимся за нашими спинами. Ночью, при накренившейся над ним луне, обрыв казался выше и таинственнее, чем в действительности, а хмурые, жавшиеся к нему скалы — какими-то испуганными и прятавшимися один за другого великанами.

Но вот луна скрылась за уродливое, похожее на гору измятого тряпья облако, и море сразу почернело.

— Нирвана исчезла, — зашептал Ладыгин, как-то искоса посматривая на тихо вздымавшуюся поверхность воды. — Теперь оно опять бессвязно ропщет и вздыхает, и волны бьют белыми крыльями о берег... Теперь оно опять полно отчаяния и ужаса... Оно все переполнено ужасом и само — ужас.

Мне стало вдруг жутко еще более, чем прежде, от всей этой ночи, этого моря и главное — этого надорванного страданием голоса. Я с изумлением и страхом начинал ощущать, что проникаюсь тем полугорячечным настроением, которым был охвачен Ладыгин. Меня как-то гипнотизировал и сковывал этот глухой, напряженный голос и эти острые, болезненные взгляды широко открытых мрачных глаз, в которых мне чудилось что-то недоброе, но отделаться от чего я не мог.

— Этому морю, знаешь, чего только недостает теперь? — как-то таинственно спросил меня Ладыгин.

А у меня вдруг в глазах мелькнуло что-то... Я хотел крикнуть: «Да убирайся ты к черту!», вскочить и увести с собой Ладыгина, но вместо этого, смутно предчувствуя, что Ладыгин назовет то, что мелькнуло предо мною, невольно спросил я:

— Ну?

— Труп, — почти беззвучно уронил Ладыгин и, вдруг, вздрогнув всем телом и не сводя расширенных в ужасе глаз с черного пространства моря, он схватил меня за руку и оцепенел.

— Что с тобой? — тревожно спросил я.

— Ничего... — с трудом и не сразу ответил Ладыгин и, выпустив мою руку из своей, отер со лба выступивший каплями пот.

— Ничего, — повторил он. — Мне показалось.

Он снова распростерся на песке, подергивая себя за густые черные усы, и заговорил, стараясь быть как можно спокойнее:

— Здесь, видишь ли, не так давно утонула девушка...

— Каким образом?

— То есть, ты хочешь знать, утопилась или утонула?

— Да.

— Утоп...н... не знаю... право. Разное говорят.

— Что же, вытащили ее?

— Да, через три часа после катастрофы.

— А кто она такая была?

— Она? Гувернантка... Француженка у местного рыбопромышленника Судьбинина, который летом живет здесь с семьей... Как, бишь, эту девушку звали?.. Гм... Вот странно... Что это со мной? Я забыл ее имя?

Ладыгин даже привстал слегка при этом и тер свой бледный лоб дрожавшею рукой.

— M-lle... M-lle...

Он покосился на то место, где лежал я, и вдруг вспомнил:

— M-lle Julie.

— Ты ее видел?

— Мертвую?

— Нет, живую?

— Видел... — не сразу ответил он.

— Она была хорошенькая?

— Как тебе сказать... Скорее — нет. Большеротая. Крупные черты... Глаза только хорошие — синие, чистые, доверчивые. Фигура тоже удивительная. Точно из слоновой кости, высокая... Да волосы, волосы чудные, совсем золотые, благородного тона.

— Молоденькая?

— Лет восемнадцати. Только что приехала из Франции... Из Нанси... По рекомендации начальницы пансиона.

— Одинокая?

— Нет, говорят, мать у нее, старушка. Помогала ей. На родину посылала русские деньги.

— Ты был с ней знаком?

Он слегка обернулся, опершись на локоть, точно нехорошо расслышал вопрос, и затем холодно ответил:

— Нет.

И снова отвернулся, после продолжительного молчания бормоча:

— А я думал, ты давеча спрашивал, видел ли я ее мертвую.

Он снова умолк и затем как бы про себя снова заговорил:

— Да, я видел ее мертвую. Два раза видел. В первый раз вот здесь... вот... — привстал он на колени и, бледнея, указал пальцем на море. — В десяти шагах от берега. Вода была так прозрачна, что тело виднелось ясно отсюда. Какой-то тупорылый немец, не выпуская изо рта трубки, в чем был, шагнул в воду, схватил утопленницу за волосы и выволок ее на берег.

Ладыгин закрыл глаза руками и продолжал:

— Я как теперь вижу это чудное тело, с золотыми волосами, качающееся на воде. Стоит только мне закрыть глаза, и оно предо мною.

Он поспешно опустил руки и провел ими по лицу и волосам, словно стараясь отогнать этот ужасный образ.

— Лица ее я не видел тогда... Она качалась вниз лицом, слегка подогнув колени, со сцепленными на груди руками. Вот так... — показал он мне ее позу, простираясь на песке. — Собрался народ. Никто не пролил над ней ни одной слезы. Утопленницы здесь не редкость, и она была всем чужая... Притом — иностранка... Я поспешил уйти и целый день бродил Бог знает где... А вечером... ночью...

— Пришел сюда?

— Ты почему знаешь? — подозрительно спросил он меня.

Я смутился... Я сам не мог ответить на этот вопрос и отделался натянутой фразой:

— Такова психология. В такой смерти есть что-то притягательное. Может быть, это объясняется очень просто, животным эгоизмом... Ты, мол, вот утонула, а я здесь жив...

— Нет. Это не то.

— Так что же?

— Не знаю, — нерешительно ответил он. — Я пришел сюда, потому что это было мое... любимое место... — заикнулся Ладыгин. — Место дикое и унылое. Со всех сторон скалы... Тут обрыв, а впереди — море. Я думал, что ее уж убрали, и вдруг... наткнулся здесь на ее труп, только обвернутый в простыню... Как раз на том месте, у камня, где лежишь ты.

Я испуганно вскочил, но Ладыгин как будто не заметил этого.

— Она валялась здесь, как щепка... как камень... Ее даже не караулил никто.

— Но почему же ее оставили на берегу?

— В ожидании следствия нельзя было трогать тела, а власти должны были приехать только утром.

— Ну... и ты, конечно, убежал отсюда сломя голову.

— Нет, — чуть слышно ответил Ладыгин. — Как раз наоборот. Правда, сначала я отскочил, как от удара. Потом меня неудержимо потянуло к ней, и я пополз... пополз... вот так... — с безумным лицом, полным неподвижного ужаса, шептал он, ползя к камню, около которого прилегал. — Стянул с лица простыню... Вот так, — вонзаясь глазами в

песок, продолжал как бы бредить он, точно видя на нем утопленницу. — Отвел левой рукой простыню, а правую в то же время держал наготове... вот здесь... возле горла... Мне все казалось, что она вскочит на ноги... Я отвел простыню и заглянул в это неподвижное, посиневшее лицо, в эти неподвижные, стеклянные глаза, в этот очерившийся большой рот, на губах которого все еще виднелась пена, — дрожащими, помертвелыми губами бормотал он, вытянув шею, поддерживая тело локтем левой руки, пальцы которой судорожно перебирали что-то на песке.

«Довольно!» — хотел в ужасе крикнуть я, но язык мой как будто прилип к гортани, и я не в состоянии был свести своих глаз с искаженного безумным выражением лица Ладыгина.

Настало невыразимо мучительное молчание. Только волны вздыхали и напоминали о чем-то тяжелом и страшном даже для них.

Вдруг я услышал потрясающий крик. Голос сдавленный, непохожий на мягкий и задумчивый голос. Я бросился к Ладыгину. Он опрокинулся навзничь и лежал неподвижно, закрыв руками лицо. Но лишь только я очутился около него, он собрал все усилия и поднялся, пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки на лице его была жалкая и умоляющая гримаса.

— Прости... Я тебя напугал. Я поступил как... дурак... Я хотел тебе передать картину и чересчур увлекся. Из меня вышел бы недурной трагический актер, — бормотал он сухими и запекшимися губами, тщетно стараясь освежить их таким же сухим языком.

— Вот что, друг мой! — стараясь быть как можно более спокойным и строгим, внушительно заговорил я, пытаясь в то же время поднять за руку Ладыгина. — В этой ночной жуткости, страхах и самопугании есть, пожалуй, много заманчивого для любителей сильных ощущений, но тебе, да и мне тоже, это надо бросить. Довольно. Пойдем отсюда, и я тебе искренне советую немедленно выбраться из этой трущобы, от этих страхов куда-нибудь подальше, отбросив все свои уродливые, раздутые, гиперболические представле-

ния о чувственности. Тебе надо лечиться, но не от излишней чувственности, а от излишней чувствительности. Так-то...

Я взял Ладыгина за руку и потащил прочь от страшного места.

— Куда?

— Домой... Баиньки. Я думаю, уж полночь... Утро вечера мудренее. Завтра от этих страхов и следа не останется.

— А ты знаешь, что у меня и ночью, хотя бы окна были закрыты наглухо, шум моря слышен. Так под этот шум и засыпаю.

— Ну, вот и отлично. Море убаюкает нас обоих.

— Мне сначала странные сны снились под этот шум. Битвы, пальба...

— Немудрено. Во сне ведь все звуки воспринимаются преувеличенно. Но пойдем. Пойдем.

— Пойдем, — покорно согласился он. — Только не сюда, а обратно. По песку тебе тяжело будет, а там мы поднимемся немного и будем на открытой дороге.

— Ладно! — согласился я и, слегка поддерживая Ладыгина, который нетвердо стоял на ногах, пошел по указанному направлению.

— А один раз мне снился пресмешной сон, — улыбнулся он, оборачиваясь ко мне. — Мне приснилось, что море стонет во мне.

— Съел что-нибудь скверное, у тебя в желудке и бушевало.

— Может быть... Кстати, я сейчас угощу тебя отличным вином местного производства. Настоящее виноградное... Без всякой подделки. Можно поручиться. И не в младенческом возрасте. Это единственная роскошь, которую я себе позволяю.

— И в большом количестве ты позволяешь себе эту роскошь?

— Нет, не особенно. В Петербурге я больше пил... А знаешь ли, — внезапно переменял он тон и тему разговора. — Я ведь склонен думать, что девушка-то утопилась.

— Ах, оставь ты об этом! — воскликнул я, снова начиная раздражаться. — Брось на ночь это такое рассказывать, а то приснится, что ты и ее... проглотил.

— Чего доброго... Нет, не шутя. Мне рыбаки тут перераздавали, что дело не обошлось без романа.

— Какой же тут может быть роман, когда на двадцать верст в окружности, кроме тебя, нельзя и сыскать человека, годного в герои романа? Немец, я полагаю, для поцелуя-то даже трубки изо рта не выпустит.

— Мне указывали тут одного молодца. Подлец, должно быть, первостатейный... Из нашей породы. Кажется, скульптор какой-то.

— Зачем сюда попал скульптор?

— Говорили, что глину для лепки хорошую нашел. Вроде терракоты. У него в городе мастерская большая. Как его фамилия?.. Вот, забыл... Странно, я начинаю забывать имена и фамилии и даже, представь себе, сегодня едва вспомнил твое имя. Честное слово... Ах, да... Так о чем же я говорил?

— О скульпторе.

— О каком скульпторе? Ах, да... О Сабателли... Вот, наконец-то, вспомнил фамилию. Он приехал в прошлом году осенью и познакомился с той барышней... Опять забыл имя.

— M-lle Julie.

— Да, да.

— Может быть, он для нее и приезжал.

— Кто? Скотти-то?

— Какой Скотти?

— Да скульптор.

— Но ведь ты сказал, что его фамилия Сабателли.

Ладыгин остановился, несколько смущенный. Потом решительно заявил:

— Нет, это я, значит, ошибся... Скотти, именно Скотти, а не... как ты сказал?

— Сабателли.

— Нет, нет, не Сабателли. Ну, да это все равно. Дело не в фамилии. Важно, что он обольстил девушку.

— Ты об этом говоришь так, точно безусловно уверен в своей догадке.

— Почти... Вероятно, обещал жениться... Словом, поступил как негодяй.

— Так не топиться же от этого!

— Тут, говорят, было еще и другое. Хотя для девушки, почти ребенка, незащитной и опозоренной, и этого достаточно... Не спорь.

— Да мне-то что за дело! Ну, а что же другое?

— А другое? Говорят, у нее ребенок был от него.

— Вероятно, сплетни.

— Нет, не сплетни. Дня за два перед тем море выбросило невдалеке отсюда трупик младенчика... Стой! —внезапно остановил меня он, дрожа и указывая глазами на какое-то подобие тела, распростертого на нашем пути.

Я тоже вздрогнул от неожиданности, но тотчас же, поборов малодушный страх, подошел и, толкнув ногой мнимое тело, которое оказалось не чем иным, как камнем, не мог не выругаться:

— Черт знает что такое! Это, наконец, ни на что не похоже. Точно мальчишка, создает себе страхи и меня дураком делает. Идем скорее от этих нелепых, мрачных скал и бессмысленного моря.

— Идем, — согласился Ладыгин и продолжал все тем же тоном, от которого у меня во всех членах поднималась мучительная тоска, горло сдавливало как будто мягкими, холодными пальцами и на глаза выступали странные слезы безотчетного испуга и сверхъестественных ощущений:

— Одна вспышка подлой чувственности, и сразу две жертвы. А может быть, и три... Кто знает, может быть, его мучения еще ужаснее смерти! Может быть, он каждую ночь приходит на то место, где она утонула, и видит, как наяву, перед собой ее качающийся на воде, белый и нежный труп или прикрытые простыней, стеклянные глаза, ощеренные зубы и пену на губах...

— Ну, вряд ли. Скорее всего уж другую жертву ищет, чтобы забыться.

— Может быть, и это. Я забыл еще эту несчастную старушку-мать, которой ее Julie служила поддержкой и единственным утешением. Как бы то ни было, — жертв далеко не одна... Ну, разве же не проклятие эта подлая чувственность, как Молох пожирающая сотни, тысячи, миллионы жертв? Сколько таких матерей, обесславленных, утопили себя в воде, удавили веревками, отравили ядом, застрелились! Сколько этих несчастных младенчиков брошено в помойные ямы, задушено из страха позора, зарыто живыми в землю, отдано в воспитательные приюты, загублено руками Скублинских. Если бы они восстали из праха, из земли, на ней не хватило бы места не только всем живущим, но и одним им... А могилы их достигли бы до самого неба и ушли бы в самую преисподнюю.

Теперь мы уже поднялись с берега и вышли на дорогу, тянувшуюся невдалеке от обрыва. Дорога шла в небольшой ложбинке, и на обрыве росли странные, невысокие кустики. Месяц низко-низко поник вдаль над курганом, почти без всякого блеска... Теперь и я уже нашел в нем сходство с черепом. До кургана и за курганом тянулась степь, темная и безмолвная, и этот поникший, усталый месяц как-то таинственно гармонировал с ней, точно они понимали друг друга и степь ждала, когда месяц совсем опустится к ней, чтобы посоветоваться о чем-то ужасном и важном. Месяц чуть-чуть озарял эти тощие, одинокие кустики, и тихий, бессонный ночной ветер колебал их. Точно тоже выспрашивал какую-то мучительную тайну, а они шептались и тянулись друг к другу.

— Смотри, смотри... точно младенчики качаются, растопырив крошечные ручки!.. — диким, прерывающимся шепотом обратился ко мне Ладыгин, указывая рукой на кустики.

Я весь похолодел, но не от того, что также нашел сходство кустиков с младенчиками, а от этого дикого голоса своего приятеля и от его полного беспредельного ужаса вида... Я рванулся к нему, чтобы оттащить его от этой картины, но Ладыгин все стоял с протянутой по тому же направлению рукой, с мертвенно-бледным лицом и неподвижны-

ми глазами. Он, как в забытьи, бормотал, не спуская взгляда с одного из кустиков:

— Он зовет меня... Видишь... Он зовет меня... Слышишь, сын зовет отца...

— Опомнись! — крикнул я, схватывая его за руку и в отчаянии ощущая, что он стоит, как чугунный, со своей все еще протянутой рукой.

— Сын зовет отца... Он хочет мстить... он хочет выпить мою кровь...

Шатаясь, он сделал несколько шагов. Я бросился к нему, онемев от ужаса... Было поздно. Он сделал еще шаг, покачнулся и без крика свалился вниз со страшной крутизны.

— Ладыгин!.. — закричал я.

Мне никто не ответил. В безмолвном ужасе я взглянул вниз. Там чернело что-то, но нельзя было разобрать, камень или человек. Я пробовал прислушаться, но в ушах шумело, как в морской раковине, и кровь стучала в жилах... Мне как будто послышались чьи-то стоны... Нет, это море шуршало по берегу своею мертвою зыбью.

Б. Семенов

ТАИНСТВЕННЫЙ РУЛЕВОЙ

В кают-компании небольшого пассажирского парохода шла оживленная беседа. Говорили о таинственном.

Это был первый хороший день после десятидневного шторма. Наш пароход сильно отнесло в сторону от курса, и мы долго не знали, где находимся. Только сегодня удалось определить место корабля и лечь опять на курс.

Капитан, старый морской волк, утешал нас:

— Это временное затишье. Шторм повторится. И еще какой!

Андрей Николаевич, доктор, большой любитель всего таинственного, спросил меня, верю ли я в возможность общения с загробным миром.

— В загробную жизнь, положим, я верю, но верить, что умершие могут говорить с живыми и так просто — простите — я не верю.

Сам я ни разу, ни на одном сеансе ничего не видел: обычно говорили, что сеанс не удался. Впрочем, неделю назад было то, что называется «удачный сеанс», и один дух сказал, сколько лет Анне Ивановне, увеличив возраст этой дамы на целых 8 лет, за что и был обозван ею дураком. Конечно, это даром ей не пройдет и оскорбленный дух отомстит за себя!

Но все эти истории — специально для дам...

Тогда капитан рассказал странную историю:

— Есть у нас рулевой Горсткин. Ну, рулевой, как рулевой. Ничего таинственного на вид из себя не представляет. Самый обыкновенный человек. Вот разве что — абсолютно не пьет и не курит...

Ну, так вот. Когда его вахта приходится от 12 ночи до 4 утра, то в кубрике (помещение матросов) целый переполох. Матросы, которым предстоит стоять вместе с таинственным рулевым, отказываются выходить на вахту: приходится прибегать к угрозам.

Дело же вот в чем: у нас, как полагается, стоит баковый матрос, обязанность которого смотреть вперед и, в случае опасности, давать знать на мостик вахтенному помощнику капитана. Так вот, видите ли, каждый раз, приблизительно около часа ночи, баковый видит стоящего впереди руле-

вого, того самого Горсткина, который в данный момент стоит на руле, то есть позади него. Иначе говоря, получается два Горсткина... Когда это произошло впервые, все объяснили галлюцинацией, но вдруг оказывается, что рулевого видели все и стоял он в продолжении 5-6 минут. На галлюцинацию не похоже. А когда подвыпивший матрос, прибежавший из кубрика посмотреть на чудо, полез по бугшпрету, то едва он дошел до стоящего рулевого и ударил его свайкой, как был отброшен и, ударившись о борт, пошел ко дну. Рулевой, стоявший впереди, улыбнувшись, исчез. Рулевой же, стоявший на мостике, во время удара свайкой призрака почувствовал острую боль в ноге и вскрикнул. Это слышали все. Когда его спросили, видел ли он призрак — своего двойника, он категорически заявил, что никакого призрака не видел, и по его лицу было видно, что он усомнился в нашей нормальности.

Никто не знал этого матроса раньше. При поступлении к нам, он заявил, что плавал все время на английских судах и показал свидетельство, из которого мы увидели, что он отличный рулевой, — непьющий и уволен по собственному желанию.

Матросы отказались спать в кубрике, если он будет там ночью, и потому я перевел его в свободную запасную каюту... Он здесь и сейчас...

Мы слушали капитана с большим вниманием, таинственный матрос заинтересовал нас.

С разрешения капитана мы решили поймать «призрак» или, по крайней мере, спутнуть его. В душе мы мало верили в возможность появления призраков, приписывая его появление воображению утомленного штормом экипажа судна.

Единственный человек, веривший в возможность появления двойника рулевого — был доктор Андрей Николаевич. Он объяснял:

— Очевидно, рулевой — человек, одаренный от природы способностью выделять свое астральное тело помимо воли, это довольно обыденное явление. Этому способствует его душевное состояние, а также и состояние атмосферы во

время шторма.

Мы недоверчиво улыбались.

Ночью Андрей Николаевич взял на себя наблюдение за рулевым и, с разрешения капитана, решил выйти на вахту вместе с рулевым на мостик. Приготовили фотографический аппарат и несколько зарядов магна. Двое из нас вооружились ружьями. Мы твердо решили уничтожить призрак. Или поймать его...

К вечеру поднялся ветер и судно начало покачивать. Но мы, несмотря на то, что некоторых из нас укачивало, были тверды, не изменив своего решения «поймать призрак», и к полночи были готовы и ждали сигнала.

Ровно в 12 часов пробили склянки. Сменилась вахта. Мы заняли свои места и начали сосредоточено вглядываться в темноту ночи. Картина была величественная: ветер завывал в снастях и сливался с шумом волн, разбивавших о нос судна. Когда нос судна опускался, падая, ныряя куда-то в бездну, на баке становилось светло от фосфорического блеска моря, которое точно кипело. Получалось впечатление, будто вода горит: до того было много искр...

Мы невольно залюбовались морем и даже на время забыли, что ждем появления призрака, — «Летучего голландца», как его тут же кто-то окрестил... Время шло. Но никто не появлялся. Матросы острили: видно, сдрейфил наш рулевой и сидит себе в море... Так прошло часа полтора. Стало скучно... Но вот впереди появилось сперва светлое пятно и вскоре совершенно ясно перед нами вырисовались лицо и фигура рулевого. Он как бы светился... Я протер глаза и попробовал незаметно ущипнуть себя за ухо. Больно, — значит, не сплю. Фигура была совершенно неподвижна и только улыбалась нам. Я помню эту улыбку и сейчас... Доктор закричал нам с мостика, что хорошо видит призрака, и спросил рулевого, видит ли он. Горсткин посмотрел по направлению носа судна, а потом на доктора. На лице его были недоумение и страх.

— Нет, он ничего не видит!

Я взял ружье и крикнул, что буду стрелять. И я отчетливо услышал тихий смех. Черт возьми: это смеялся призрак!..

Фотограф приготовился снимать. Вспыхнул магний и в тот же момент я выстрелил. На мостике раздался крик рулевого. Он упал. Мы слышали стон. Его место занял вахтенный помощник капитана, пока прибежала смена... Бесчувственного рулевого, бледного, с провалившимися глазами, перенесли в кают-компанию и доктор начал приводить его в себя. Но ничего не помогало.

— Тут нужны не лекарства, а магнетизм, — сказал доктор.

Однако, на левом плече рулевого был сильный кровоподтек и даже опухоль, как бы от удара.

В момент выстрела призрак исчез. Проявленная пластинка вышла очень плохо, что объяснили сильной бурей. Нельзя было ничего разобрать.

Буря утихла. Мы подходили к острову Мацмай и решили зайти в японский порт Хакодате, — взять уголь и провизию.

Рулевой наш не приходил в себя — уже вторые сутки.

Придя в порт, дали знать русскому консулу и вскоре на пароход прибыл японский доктор. Он осмотрел больного и объявил, что он ничего не может сказать, но предполагает летаргический сон, который может прекратиться ежеминутно. Мы рассказали все, что произошло, но по лицу японца видели, что он не верит и только из деликатности не противоречит нам...

Матросы объявили, что если на судне будет таинственный рулевой, то все уходят...

К вечеру рулевой проснулся и попросил пить. Его отправили в госпиталь, а мы ушли во Владивосток.

Уже потом я узнал, что рулевой, поправившись, поступил на английское судно и ушел в Сидней, в Австралию. Во время шторма судно разбилось о коралловые рифы, почти вся команда погибла, и только рулевой Горсткин каким-то чудом спасся...

Так ли это — не знаю. Но больше я ничего не слышал о нем...

Вадим Белов

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

(Морской рассказ)

— Большинство пословиц — вздор! — говорил в кают-компании ревизор.

Ужин уже окончили, и за столом осталось всего человек 5 «корабельных философов» да старший офицер, спустившийся с палубы позже и потому еще кончавший свою котлету.

— Ревизор уж, как скажет, — так словно отрубит! — с иронией возразил артиллерист. — Я могу вам привести сколько угодно очень остроумных и, действительно, справедливых пословиц.

— Пожалуйста... мы слушаем!..

Ревизор насмешливо глядел на своего собеседника.

— Ну вот, например: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем» или...

— Позвольте... а вот, например, у штурмана жена... он ее и не хранил, а когда она с каким-то мичманом сбежала, так не только не заплакал, а, наоборот, пришел ко мне и говорит: «Пойдем-ка, Иван Иванович, выпьем на радостях — наконец-то моя благоверная сбежала...»

Все засмеялись.

— Да бросьте вы каламбурить! — обиделся артиллерист. — С вами серьезно говорят, а вы все паясничаете...

— Продолжайте, продолжайте... больше не буду.

Артиллерист потер лоб и продолжал:

— Еще пример: «Чем меньше женщину мы любим — тем больше нравимся мы ей».

— Это не пословица... это Пушкина, — зашумели за столом.

— ...А что же, по-вашему, пословица?..

— Народное — а не из поэтов...

— Извольте... «Кто в море не бывал — тот и страху не видал».

— Вздор... вздор... — кричали все.

Шум поднялся невообразимый, каждому молодому моряку хотелось щегольнуть своей неустрашимостью, и все наступали на злосчастного артиллериста.

— Позвольте... господа... — вмешался до сих пор молчавший старший офицер — я с вами не согласен...

Наконец все затихли.

— Я с вами совсем не согласен. Пословица «Кто в море не бывал — тот и страху не видал» имеет глубоко правдивую подкладку... даю вам слово старого лейтенанта.

Старший офицер помолчал, достал из кармана кителя толстую сигару и внимательно ее обрехал.

— Конечно, — продолжал он через минуту, — не вам, господа, судить о ее правдивости в наш век, когда броненосцы, пар, электричество и пироксилин убили старый морской дух лихости и сделали из моряков — машинистов.

Но я, господа, застал еще во флоте маленькие грациозные корветы и клиперы, одетые белыми парусами и незнакомые с угольным дымом и копотью.

Если вам не скучно, я могу рассказать вам одну быль, которой я сам был свидетелем.

Мы шли из Генуи в Алжир, пересекая Средиземное море в самой широкой его части. Ветер был слабый, к вечеру поставили брамсели.

Я, господа, не поэт и вряд ли удачно опишу вам картину южной ночи; впрочем, в ту ночь, о которой я вам рассказываю, никто на «Мареве» и не думал любоваться природой: на корвете была большая неприятность.

Перед самым спуском флага доктор прошел в каюту командира и сообщил ему, что в судовом лазарете скончался матрос Евсеев. А история с Евсеевым произошла скверная: старший офицер был свирепый, из «старых», и за какое-то упущение на парусном учении всыпал Евсееву 200 линьков.

Вам, конечно, не приходилось видеть это оружие пытки старого флота?.. Благодарите Бога!.. А мне волей-неволей пришлось даже присутствовать несколько раз при порке этими самыми линьками... и впечатление осталось, конечно, очень тяжелое!..

Старший офицер помолчал.

Итак, всыпали Евсееву 200 линьков, унесли его в лазарет, выражаясь по-боцмански, «в бесчувствии» и решили, что через 2-3 дня матрос опять будет бодр и свеж!..

Но на деле вышло не так.

Евсеев был из слабых, случилась с ним, кажется, скоротечная чахотка или что-то в этом роде, одним словом, вече-

ром, в день выхода из Генуи, он умер.

Перетрусил старший офицер, испугался и командир — словом, на корвете воцарилась какая-то напряженная, боязливая тишина.

Наутро Евсеева одели в новую фланелевку с синим воротником, зашили в брезентный мешок и, прикрепив к ногам ядро, положили на юте ногами к морю на наклоненной доске, на высоте фальшборта.

Словом, все приготовили к погребению. Но к вечеру начало свежить. Постепенно убрали брамсели и спустили брам-стенги.

Началась качка. Вахтенный начальник спросил было разрешения убрать тело Евсеева в палубу, но командир приказал не убирать, а только прикрепить к фальшборту покрепче, и похороны назначили ранним утром.

К 10 часам ветер еще засвежел и почти перешел в шторм.

Почернело море, быстро спустилась ночь и в непроглядной темноте мчался по вспененным волнам наш маленький корвет.

В 12 часов я вступил на вахту.

Ночь была так темна, что я с трудом различал на мостике фигуры командира и старшего офицера. Последний озабоченно склонился над компасом.

Качало сильно. Иногда у самого борта вдруг поднимался столб пены и с зловещим шумом рушился на палубу.

Мы четверо: командир, старший офицер, вахтенный начальник и я, неотлучно стояли на мостике, вперив в даль взгляд.

По моему расчету, было около двух часов ночи, когда после особенно сильного шквала с бака закричали:

— Справа по носу зеленый огонь!..

— Где? — в волнения переспросил старший офицер.

Но переспрашивать было незачем.

В ту же минуту на правом траверсе мелькнули два огня: зеленый и красный.

Командир крикнул рулевым:

— Право на борт...

И слова замерли на его устах...

Прямо по нашему борту неся громадный, весь белый, как бы изнутри освещенный корабль; на нем стояли все паруса, и неся он, как тень, не касаясь воды, прозрачный и страшный, мигая своими отличительными огнями, а на баке у самого форштевня стояла высокая, худая человеческая фигура, плотно закутанная в черный плащ.

Мы онемели от ужаса...

Я помню ясно, как громадный таинственный корабль сделал поворот и помчался через нашу корму, именно через, так как она прошла сквозь него, как сквозь туман.

Я представляю себе сейчас полные безумного ужаса глаза командира и бледное до синевы лицо старшего офицера.

Первым нашелся вахтенный мичман. Он подбежал к рулевым.

— Видели? — крикнул он хриплым голосом.

Рулевые, бледные, едва державшие штурмы одной рукой, без шапок, творили другой крестное знамение, и старший вместо ответа прошептал:

— Господи. прости наши согрешения!

Очевидно, это был не сон.

Но если бы вы знали, какой безумный, нечеловеческий ужас испытал я на рассвете, сменясь с вахты и пробираясь на корму в свою каюту: тела Евсеева на доске не было!

Говорят, его могли смыть волны, ходившие через ют... может быть... но я-то, я-то твердо верю, что это дело не волн, а того таинственного белого корабля, «Летучего голландца», повстречавшегося нам в эту бурную ночь.

Когда наутро я взглянул в зеркало, мои виски были белы, как морская пена.

Вот и говорите после этого, что в море нет ничего страшного и что эта старинная морская пословица — вздор! Нет, господа!..

Старший офицер кончил и среди воцарившейся тишины вышел из кают-компания.

Все молчали. По лицам бродили недоверчивые улыбки, а ревизор даже попытался скаламбурить.

Но все были подавлены...

Когда после 12-ти ревизор вышел на вахту, броненосец шел открытым морем. Гулко стучали громадные машины, толстые трубы разбрасывали снопы золотых искр, а черные волны с ревом разбивались о стальной таран.

А мысль ревизора все еще была занята рассказом старшего офицера, и порой казалось ему, что из темноты выплывает навстречу броненосцу громадный белый корабль с таинственной, закутанной в плащ фигурой «Летучего голландца» у форштевня.

Георгий Северцев-Полилов

РОКОВОЙ ОПАЛ

Мы сидели в таверне «Del Bonito» в одной из бойких улиц Барселоны, на берегу моря.

Нас было трое: два местных испанца и я, русский, случайно попавший в этот город, приглашенный петь.

Сегодня вечером я был свободен, в театре шла опера «Сомнамбула», в которой я не участвовал и от нечего делать отправился с двумя случайными приятелями в эту таверну, поиграть в тарок и выпить бутылку-другую вина.

Оба мои новые приятели были суеверны, как вообще большинство испанцев: они верили и в дурной глаз, и в несчастные дни недели, и в рыжий клочок волос. Их страшило, если старуха-нищая у собора погрозит клюкой, между ног проскользнет черная кошка, да мало ли глупостей, которым они верили и придавали большое значение!

Невежественны они были поразительно, несмотря на то, что оба считались настоящими кабаллеро, где-то чему-то учились и могли кое-как болтать по-французски. Один из них служил в какой-то конторе, а другой состоял агентом страхового общества; получали они грошовое жалованье, но гордости у них было много, как это и полагается «благородному испанцу».

Расспросы их о моей родине России оказались более чем наивными, они вычитали где-то в испанских книгах о каком-то фантастическом путешествии в нашу страну и самым серьезным видом меня расспрашивали:

— Правда ли, сеньор Хорхе, что у вас в Петербурге, когда появляется на небе новый месяц, простолюдины выходят на улицу с опарой в горшке, пекут на кострах блины, приговаривая: «Пусть моя опара подымется так высоко, как месяц на небе и я заработаю в этом месяце много денег».

Разумеется, я хохотал в ответ, повторяя:

— Какие небылицы! И вы верите таким глупостям?

Но мои испанцы не унимались и продолжали свои расспросы:

— Ну, вы, наверное, не будете отрицать, что в Петербурге и в Москве богатые купчихи, отправляясь гулять, навешивают себе на шею в виде гирлянды серебряные ложки, вилки и тому подобное?

— Неужели вы предполагаете, что в России живут дикари, совершенно незнакомые с цивилизацией? Уверю вас, что наша Россия значительно опередила вашу Испанию, у нас нет подобных суеверий, которые мешают вам на каждом шагу и отравляют вашу жизнь.

Мои испанцы замолчали, но я заметил, что они были немного обижены моим последним замечанием, впрочем, ненадолго. Хорошо согретая бутылка вина помогла нам снова перейти на мирную почву и развеселила их.

Чтобы замять наше маленькое недоразумение, я вынул из кошелька несколько сибирских камней, которые я привез одному моему приятелю в Марселе в подарок, но не успел еще передать, и стал их показывать моим собеседникам.

Впечатлительная испанская натура сказала: глаза их разгорелись при виде драгоценных камней. В особенности понравились им изумруды и наши сибирские аквамарины громадной величины.

— *Cual tesoro! Eccellenti!* — восторженно шептали оба.

Чтобы еще больше очаровать их, я достал из того же неисчерпаемого кошелька перстень с опалом и, одев на палец, стал показывать. На лицах моих товарищей сразу появился панический ужас, он чувствовался даже в их глазах, черные зрачки их сразу потускнели.

— Скиньте, скиньте скорее перстень с руки, сеньор, если вы не желаете нажить себе какое-нибудь несчастье! — настойчиво повторял мне один из них, дон Эстабан.

— Я очень вас об этом прошу, — умоляюще повторил его товарищ, черный, как ночь, Амброзио Пепе.

— А почему? — изумился я подобной настойчивости моих собеседников.

— Разве вы не знаете, что этот камень проклят, он приносит одно несчастье, нередко... даже смерть! — добавил он глухим, трепещущим голосом.

Я улыбнулся легкомыслию испанцев и шутливо проговорил:

— Какой пустяк! Я ношу этот перстень уже много лет, раньше носили его мои предки и никогда ничего с ними не случалось.

— А вы поройтесь-ка в ваших воспоминаниях и тогда убедитесь, что когда-нибудь все-таки случилось с тем, кто его носил, несчастье.

— Уверяю вас, что ничего подобного никогда не было!

— Ну, в таком случае вы, значит, заколдованы, — боязливо на меня поглядывая, прошептал Амброзио.

— Хотите знать, сколько горя принес один такой камень в нашей королевской семье? — торжественно-мрачно спросил дон Эстабан.

— Буду очень рад; пожалуйста, расскажите, — обрадовался я, ожидая услышать от испанца совершенно для меня новое.

Эстабан скосил глаза на пустые бутылки, я понял его намеки.

— Эй, цапшатило, — крикнул я маленькому слуге, — еще!

Оба мои испанца нахохлились, как два петуха, вытащили из кармана по вирджинии и, наклонясь к газовому рожку над столом, у которого мы сидели, задымили *cigarros*.

Я приготовился слушать и наблюдать за рассказчиком, зная, как южные народы умеют рассказывать, с пояснительными жестами и излишней театральностью.

II

— Много лет тому назад в Мадриде при дворе блистала графиня де Кастильоне. Она принадлежала к очень старинной испанской фамилии и была такая красавица, что каждый мужчина, завидя ее проходящей мимо, набожно складывал руки и восторженно шептал:

— О, мадонна!

При дворе же ее прямо обожали. Король Альфонс XII был в нее влюблен, и все думали, что он непременно женится на красавице-графине, тем более что род ее был почти равен по древности королевскому.

Вероятно, это так бы и случилось, тем более что Альфонс был без ума от прелестной девушки и исполнял все ее малейшие желания и капризы...

— Но вы знаете, сеньор, где замешаны две женщины, там всегда происходит неприятность, — вмешался в рассказ Амброзио.

— Да, Амброзио прав! Королева-мать приревновала сына к этой красоте; а так как, по испанской пословице, «и самое высокое дерево роняет все-таки листья на землю», то и королева Изабелла, не лишенная общечеловеческих чувств, позавидовала графине де Кастильоне в ее красоте. Когда молодой король открылся матери, что безумно обожает графиню и просит благословения матери на брак с нею, королева Изабелла с виду не стала препятствовать подобному желанию сына, но просила отложить окончательное решение его на несколько времени. Воспользовавшись этим промежутком, она очень политично сумела сплавить молодую красавицу от двора и посредством духовника последней, преданного королевскому дому, падре Игнацио, внушить графине, что король ее не любит.

Падре превосходно исполнил тонкое поручение и так обделал это делишко, что графиня де Кастильоне поняла, что молодой Альфонс никогда на ней не женится. :

— Вы знаете, сеньор Хорхе, каковы наши испанские женщины? — не выдержал снова Амброзио и прервал рассказчика. — Контесса решила отомстить! О, она отомстила покойному королю жестоко!

Эстабан с сокрушающим взглядом посмотрел на своего товарища, недовольный, что тот его прервал, и смущенный Пепе сразу умолк, пыхнул сигарой и весь окутался дымным облаком, скрывшим его смущенное лицо.

— Этот болтун мешает мне рассказывать, а сам ничего не знает! — презрительным тоном сказал Эстабан и, прихлебнув из стакана длинным глотком, продолжал рассказ.

— Исчезла из дворца графиня де Кастильоне; король несколько раз спрашивал, отчего ее нет при дворе, ему что-то отвечали неопределенное, снова повторял свой вопрос через несколько времени, а затем, сами знаете поговорку: «С глаз долой — из сердца вон!» — понемногу и забыл ее. Тут ему показали его невесту, молодой человек восхитился ею, королева-мать не стала медлить, и брак Альфонса XII с Мерседес свершился.

О, как была поражена непостоянством короля графиня! Жажда мщения вспыхнула в ее крови; очень может быть, что любовь ее к королю вовсе не была так велика, но тщеславие мучило ее. Считать себя почти королевой и неожиданно — разочарование... все горделивые мечты разлетелись в прах... этого не могла перенести гордая кастильянка.

— Он будет помнить, этот легкомысленный юноша! — точно захваченный волной рассказа, воскликнул Пепе, забывая о своей роли молчаливого слушателя.

— Слушай, Пепе, рассказываю ведь я, а не ты, а потому глотни вина и держи его во рту, тогда твой длинный язык не будет зря болтаться! — вне себя от гнева, крикнул на то-варища дон Эстабан.

Амброзио еще больше смутился, сжался и даже положил ладонь на свои губы, точно давая клятву молчать.

Эстабан сделал трагический жест рукой, откинул нависшую на лоб прядь черных волос, зловеще-искоса посмотрел на меня и трагическим шепотом проговорил:

— Она послала своему вероломному жениху подарок... роковой подарок — перстень с опалом! Девушка знала, что случится с тем, который оденет себе на руку этот перстень, она предвидела роковой исход!

Камень был великолепный, редкий, в сокровищнице графов де Кастильоне он считался одним из лучших, но роковое свойство его было известно одному в роде: отец графини, умирая, открыл ей эту тайну.

Молодой король сидел на террасе дворца в Эскуриале со своей супругой, королевой Мерседес, когда его личный камердинер принес полученный перстень. Едва только он

успел открыть футляр и золотой луч солнца упал на драгоценный камень, как опал точно ожил и загорелся огнем.

Молодая королева вскрикнула от восхищения и стала просить своего супруга подарить ей этот перстень.

— Радость моя, солнце мой души, разве я могу в чем-нибудь тебе отказать, — с довольным видом произнес король и, взяв из футляра перстень, одел его на палец своей супруги....

Роковая минута! О, если бы знала жизнерадостная Мерседес, что ее ожидает в скором времени! Никогда бы она не притронулась к драгоценному подарку, предназначенному для ее супруга! Но жребий пал на нее... Воля судьбы должна была свершиться. Жертвой мести оскорбленной графини де Кастильоне оказался не сам король Альфонс XII, а его юная супруга.

С этого дня королева Мерседес стала прихварывать, болезнь незаметно входила в нее, она увядала с каждым днем. Розовые щечки королевы поблекли, куда-то исчез ее серебристый смех, яркие глазки, в которых горела любовь к молодому супругу, потускнели.

Тщетно пытались врачи исцелить ее болезнь — им это не удавалось: через несколько месяцев молодой жизнерадостной королевы не стало. В королевской опочивальне лежал ее бездыханный труп. Вдовец-король плакал, как ребенок, сжимая в объятиях это милое нежное существо.

С похудевшей ручки покойницы скатился роковой перстень и упал на мягкий ковер. С перстнем этим она никогда не расставалась, ей был мил и дорог подарок молодого супруга.

III

Король наклонился, поднял перстень с пола, со странным вздохом прижал его к своим губам и, передавая роковую драгоценность своей бабушке, королеве Христине, рыдая, прибавил:

— Ваше величество, я не в силах сохранить этот перстень, он слишком бы растравлял мою сердечную рану, напоминая мне о моей невозвратной потере. Возьмите его себе, носите и вспоминайте о том цветке, который только что расцвел и сейчас же пал, сраженный косою смерти!

Престарелая королева была польщена такой милостью своего внука и сейчас же одела перстень на свою руку.

О, проклятая сила опала не уменьшилась! Убийца не ограничился одной жертвой, он требовал себе и другую!

На другой же день королева Христина почувствовала себя дурно: до сих пор она никогда не хворала, эта гордая крепкая женщина. Никто не мог сносить холодного блеска ее темных очей, от мановения ее руки гибли самые благородные гранды Испании, она играла людьми, как пешками. Темные силы, таящиеся под монашескими рясами, были ей подвластны, исполняли каждое ее малейшее желание, готовы были у мереть за один взгляд королевы...

И что же теперь? Она сама погибла от таинственной силы камня, безгласного, холодного, вырытого из недр земли!

Двух месяцев не прошло со дня кончины молодой королевы, как королева Христина, этот могучий дуб древнего рода, скончалась от непонятной ни одному из докторов болезни, странной, неслыханной...

Врачи только качали головами, беспомощно повторяя:

— Мы ничего не понимаем!

Тяжело было прощаться с белым светом старой грешнице. Она знала, что там, на том свете, ей придется горько расплачиваться за все зло, что она сделала здесь, на земле. Умирая, она созвала множество монахов, епископов и весь клир, прося молиться за нее и, уже находясь при последнем издыхании, она жестом подозвала к себе свою внучку Марию дель Пилар, сестру короля Альфонса, и чуть слышно прошептала ей:

— Этот перстень возьми себе. Вспоминай старую бабушку!

Радостно забилося молодое сердечко инфанты. Чудный перстень принадлежал ей! Она поцеловала холодный от пред-

смертного пота лоб старой королевы, сняла с ее пальца перстень с опалом и надела себе...

Опал заблестел ярко, из него исходили лучи. Проклятый камень радовался, что у него предвидится новая жертва. Он, как паук, торжествовал свою победу, готовясь высосать жизнь из молодого существа.

Старая холодная кровь все-таки долго боролась с заклятым камнем; горячая молодая натура поддалась его силе скорее: четырех дней не прошло после того, как инфанта надела перстень себе на палец, как она была уже в объятиях смерти...

Растерянный, озабоченный король призвал множество знаменитых докторов, умоляя их спасти свою любимую сестру, обещая отдать за ее выздоровление чуть ли не целую Голконду. Но, поникнув головами, стояли вокруг кровати больной врачи. Они не знали, что делать, что предпринять, чем лечить. Им снова приходилось встречаться с неведомой, таинственной болезнью, унесшей в могилу обеих королев.

В их немом ответе печальный молодой король прочел роковой приговор инфанте Марии.

Спасения не было: Мария дель Пилар должна была умереть, ее погубила та же роковая сила, заключающаяся в опале.

С печальной улыбкой, покорная неизбежной судьбе, молодая девушка недолго ожидала кончины; в последнюю минуту она, видимо, хотела что-то сказать брату, открыть ему какую-то тайну, глаза ее широко раскрылись, в них почувствовался ужас, из полуоткрытых губ вылетело одно слово: «Бойся...»

И с этим словом она скончалась, не досказав остальной фразы.

Роковое кольцо сняли фрейлины инфанты с ее руки и передали королю.

На этот раз опал не горел различными огнями, как раньше. Демон, живущий в нем, притаился, он казался мертвым.

Альфонс, обессилив от слез, совсем потерявшийся, машинально одел перстень себе на руку и как будто забыл о нем совсем.

Жертва забыла о палаче, но палач помнил о ней. Суток не прошло с той минуты, как Альфонс XII сделался обладателем рокового перстня, но этого было достаточно. Молодого правителя Испании не стало.

Собранные к его одру врачи только растерянно разводили руками, теряя головы и не зная, чем объяснить причину его неожиданной, столь быстрой кончины.

Вторая жена умершего, молодая королева Христина, настойчиво посмотрела на врачей и твердо сказала:

— Вы должны, во всяком случае, объяснить причину такой внезапной смерти моего супруга; иначе позвольте мне думать, что он умер неестественной смертью и тогда...

Этого было достаточно, чтобы все придворные врачи засуетились, забегали и, не имея возможности дать необходимый королеве ответ, стали расспрашивать тех придворных, которые давно уже находились при королевской семье, сжились с нею и знали все легенды, поверья и тайны Эскуриала.

Но и они отрицательно качали головами, не зная, что ответить врачам.

Только один любимый камердинер покойного короля вспомнил случайно о присланном в подарок перстне и нерешительно заметил:

— Уж не причина ли всех этих неожиданных смертей в нашем королевском роде тот перстень...

— Какой перстень? — ухватился за тонкую нить, указанную преданным слугой, главный придворный доктор, Мендиороз.

— Тот перстень, с опалом, который покойный король подарил своей первой супруге, перешедший потом к бабке короля, королеве Христине, от нее к инфанте Марии дель Пилар, вот этот, — весь побледнев от ужаса, указал королевский камердинер на роковой перстень, еще не снятый с руки покойного владыки Испании.

Перстень с роковым опалом был снят, врачи подробно осмотрели его, нет ли в нем где-нибудь присутствия ядовитого вещества, каких-нибудь пружин с острием и тому подобного, но массивная золотая оправа была ровна. Испытание, сделанное золоту и камню, тоже ничего не открыло, драгоценный опал походил в этом случае на все другие камни.

Ничего не ответили врачи королеве Христине. Удрученная горем, вдова короля не наказала их ничем, только отрешила от звания придворных врачей.

Намеки старого камердинера короля о роковой силе опала заставили молодую королеву только улыбнуться сквозь слезы.

— Это глупые предрассудки, — гордо заметила молодая женщина и, чтобы показать их вздорность, решительно проговорила: — Дайте мне сюда перстень, я одену.

Королева Изабелла, мать покойного короля, решила воспротивиться желанию своей невестки:

— Нет, Христина, ты не должна этого делать. К чему послужит подобное испытание? А если, в самом деле, дурная слава о перстне окажется справедливой, твои дети потеряют мать, страна останется без правительницы, так как меня Испания не признает больше, и будет обречена на междоусобия. Не забудь, что наследники претендента дон Карлоса не дремлют! Мой совет: это перстень нужно уничтожить.

Немного задумалась молодая королева. На белоснежном лбу ее появилась складка. Она не знала, на что решиться, но сейчас же спокойно ответила:

— Я уважаю вашу волю, матушка-королева, но раз перстень не будет находиться на моей руке, пусть никогда не украшает руку кого-нибудь другого! Я приказываю повесить его в Толедском соборе на шею святого покровителя нашей страны.

— Но злая сила, заключающаяся в его роковом камне, все-таки не исчезла, — раздался резкий тенорок Пепе, — она не может губить теперь людей, так губят всю нашу страну!

— Да-да, Амброзио прав, в это время наша Испания сильно поплатилась и потеряла прежнее могущество: у нас от-

няли Кубу, Филиппинские острова, в Африке испанцы теряют свои владения с каждым годом, — не рассердился на этот раз на говорливого Пепе его товарищ.

Оригинальная история рокового опала меня настолько заинтересовала, что я не стал больше возражать дону Эстабану относительно испанского суеверия. Мои мысли как-то странно сосредоточились на таинственной, ничем не объяснимой силе опала.

Рука моя протянулась к лежащему на столе перстню с опалом, я поднял его и, размахнувшись, бросил через открытое окно в море, на берегу которого находилась таверна...

Оба испанца с изумлением посмотрели на меня, а Амброзио наивно воскликнул:

— А ведь этот перстень стоил немало денег!..

Михаил Первухин

ТАИНСТВЕННОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

В декабре месяце прошлого 1915 года в числе туристов, прибывших для посещения устроенной в Сан-Франциско международной выставки, находилась молодая пара — мистер Гарри Дэвитт и его супруга Минни Дэвитт. Муж — небогатый фермер одного из центральных штатов; его жена до замужества была школьной учительницей. В Сан-Франциско приехали всего на несколько дней, пользуясь удобным случаем: железные дороги для привлечения публики на выставку предоставили желающим проезд по удешевленным тарифам, на льготных началах. Молодожены остановились в скромном отеле, посещали выставку и уже собирались уезжать домой.

Однажды между ними произошел по какому-то поводу маленький спор. Отстаивавший свою правоту муж предложил жене пари. Минни согласилась.

— На что спорим? — осведомился муж.

— Ты обещал мне сделать порядочный подарок, — ответила жена. — Ну вот и сделаем так: если я выиграю — ты позволишь мне распорядиться ассигнованными на подарок деньгами по своему усмотрению!

— А если ты проиграешь?

— Ну, так ты этого подарка мне вовсе не купишь! Идет?

— По рукам!..

Пари было выиграно молодой женой. Муж передал в ее распоряжение условленную — опять-таки — очень скромную сумму в десять долларов. Минни принялась соображать, что ей купить на эти деньги... Желаний было, конечно, много: можно купить красивую шляпу, а то — усовершенствованный кофейник, вещь полезная в хозяйстве, или шелка на кофточку, или...

Словом, думала и передумывала — и в решительный момент раздумывала.

Бродя по Сан-Франциско, — одному из интереснейших городов в мире, — супруги попали в китайский квартал. Там внимание Минни Дэвитт было привлечено живописной выставкой всякого старья у дверей лавки какого-то купца-китайца.

Муж нетерпеливо тянул молодую женщину от лавки:

— Я уже проголодался! Да и на выставку опять опоздаем! И что тут интересного? Старье — и только!

— Ах, да подожди же минутку! — упрямилась Минни. — Конечно, для тебя это не представляет интереса. А посмотри, какая оригинальная материя! Вот сшить бы себе капот!

— Опомнись! Ткань для обивки диванов, а ты хотела бы сшить себе капот! Ну и вкус же у тебя, знаешь ли!

— Ах, тут ожерелье!

— Из поддельного янтаря! — пренебрежительно фыркнул муж.

— А ты почему знаешь, что из поддельного? Может, и из настоящего! Зайдем, посмотрим?

— Да на что тебе это ожерелье? Неужто станешь носить?

— А почему нет?

— Такие крупные бусины? Да теперь разве только какая-нибудь негритянка согласится нацепить на шею такую тяжесть!

Но Минни настаивала. Мужу пришлось подчиниться. Они зашли в лавку. Торговец-китаец с лживо-любезной улыбкой вытащил из вороха дряни, загромождавшей окно, большое длинное ожерелье из крупных янтарных зерен, местами покрытых странными золотыми арабесками, и поднес его женщине:

— Очень дешево, мадам! Всего только тридцать долларов!

— Ну да! Так я и дала тридцать долларов! — рассердилась Минни. — Пять — и ни цента больше!

— За настоящий янтарь, мадам, пять долларов?! — оскорбился торговец. — Я сам за него заплатил больше тридцати. Но мне с ним не повезло, я хочу от него отделаться. Себе в убыток отдаю за тридцать! Ну, пусть будет двадцать девять!

Мистер Дэвитт сказал жене:

— Наверное — подделка!

Китаец услышал и вскинулся:

— Какая подделка, масса?! Настоящий янтарь! Драгоценный янтарь! Но ожерелье завалилось, и я согласен от-

дать его мадам за двадцать восемь.

Была произведена проба по способу, известному каждому ребенку: надо потереть янтарь о шерсть, и тогда янтарь приобретает магнитные свойства, притягивает шерстинки, клочки бумаги и так далее. Опыт дал положительные результаты. Но это не убеждало мистера Дэвитта.

— Ну да! — твердил он упрямо. — Так я и поверил! Теперь химики знают способы приготовления такого искусственного янтаря, который еще почище настоящего магнитит!

После долгих препирательств, охов, упреков, клятв китаец, наконец, спустил цену до десяти долларов. Мистер Дэвитт был против приобретения ожерелья и за такую сравнительно скромную цену, но Минни заявила:

— А наше пари? Ведь ты же проиграл его? Ну и оставь меня, пожалуйста, в покое!

— Но если ты делаешь колоссальную глупость?! — уже сдаваясь, слабо протестовал муж. — А впрочем, делай, что хочешь, но только, пожалуйста, поскорей: я чертовски проголодался.

Так в руки четы Дэвитт попало от китайского антиквара в Сан-Франциско старое и запыленное янтарное ожерелье.

Вернувшись в свой отель, Минни Дэвитт была несколько разочарована покупкой; пыль, казалось, въелась в зерна янтаря. Сдерживавшая зерна тонкая серебряная цепочка оказалась порванной и грубо спаянной в нескольких местах.

— Я так и знал, — злорадствовал мистер Дэвитт. — Выброшенные деньги! Не могла купить себе, ну, хоть туалетный прибор!

— И вовсе не выброшенные деньги! — сконфуженно отбивалась Минни. — Просто-напросто занесу какому-нибудь хорошему ювелиру, — тот очистит и заново отполирует зерна, а цепочку, конечно, надо просто переменить!

— Да? И на этот ремонт истратить еще десять долларов?

— Ну, что же?! Истрачу уже не из твоих, а из своих собственных!

— Это — твое право! Но и для твоих собственных денег могло бы найтись лучшее применение!

В тот же день миссис Минни Дэвитт сдала свое злополучное ожерелье одному очень видному ювелиру Сан-Франциско для ремонта, взяв с ювелира надлежащую расписку. Несколько часов спустя этот ювелир по телефону осведомился, не согласится ли МИССИС Дэвитт продать ожерелье. Имеется покупатель, любитель таких вещей.

Говорил вместо лежавшей с головной болью Минни ее супруг.

— А сколько дает ваш любитель? — осведомился он.

— Достаточно крупную сумму, — уклончиво отозвался ювелир.

— Сколько именно?

— Н-ну, тысяч... тысяч десять долларов.

Мистер Дэвитт был ошеломлен.

— Я переговорю с моей женой, когда она вернется! — сказал он. — Но едва ли она согласится отдать ожерелье за такую сумму!

В трубке, телефона что-то зашипело и захрипело. Кажется, ювелир свирепо выругался.

— Я даю двадцать пять тысяч долларов! — сказал он.

— М-м... — пробормотал пораженный Дэвитт.

— Неужели же вам мало — двадцать пять тысяч? Или у вас имеется другой покупатель?

Мистера Дэвитта словно осенило.

— Да! — сухо сказал он.

— И сколько он дает вам, если это не секрет?

— Гораздо больше, чем вы!

— Но сколько же, сколько именно?

— Пятьдесят тысяч долларов!

Пауза. Потом в телефоне позвучали слова:

— Ну, так скажите вашему покупателю, что он — сумасшедший!..

— Хорошо. Скажу! — ответил машинально Дэвитт.

Разговор по телефону оборвался. И тогда Гарри Дэвитт испугался смертельно: ведь ему, то есть не ему, а его жене Минни, — но это ведь все равно, — давали за ожерелье двад-

цать пять тысяч долларов. За вещь, за которую было заплачено всего десять долларов! Это — целое состояние. Имея двадцать пять тысяч долларов наличного капитала, можно приобрести кредит еще на семьдесят пять тысяч! И он, Гарри, отказался! И вот теперь... теперь все пропало!

Однако Минни держалась иного мнения: если ювелир Абель Уорсмэн дает за ожерелье двадцать пять тысяч долларов — значит, вещь действительно стоит гораздо дороже. Никакого покупателя-любителя у Уорсмэна, конечно, нет. Просто он узнал настоящую цену ожерелья и хочет воспользоваться случаем, дает половину, а то и треть цены. И если разговоры оборвались, то они, конечно, возобновятся.

Минни была права: час спустя сам знаменитый мистер Уорсмэн пожаловал в скромный отель с каким-то красноносый старичком — и приступили к переговорам, давая за ожерелье все большую и большую цену...

— Я должна посоветоваться с моим дядей! — сказала Минни, когда покупатели предложили ей тридцать пять тысяч долларов.

— А кто ваш почтенный дядюшка? — осведомился красноносый старичок.

Никакого дяди у Минни не было; но она прибегла к маленькой хитрости и назвала имя не своего дяди, а дяди одной молодой мисс, с которой познакомилась на выставке:

— Мистер Эбенезер Малькольм!

Это было имя популярного на все Штаты архимиллионера, главы синдиката нью-йоркских часовщиков и ювелиров.

У претендентов на ожерелье при этом имени лица вытянулись и руки опустились...

— Эбенезер Малькольм? Н-ну... Ну, нам тут, конечно, делать нечего! Нам не тягаться с мистером Эбенезером! Но, миссис, и сам Малькольм едва ли даст вам больше... больше пятидесяти тысяч долларов!

— Может быть! — силясь казаться равнодушной, ответила молодая женщина. — Может быть...

На другое утро те же претенденты явились снова, и их

сопровождал какой-то третий субъект, напоминавший морского слона толщиной.

— Вот что, миссис! — заявил он. — Мы навели справки и узнали, что мистер Малькольм вам родственником не приходится! Но мы деловые люди. Мы понимаем, что вы можете найти пути и добиться свидания с ним. Поэтому мы решили попытаться сговориться с вами раньше и даем вам очень высокую цену за ваше ожерелье. Не будьте упрямыми, соглашайтесь. Мы будем играть в открытую. Назовите вашу цену!

— Сто тысяч долларов! — с замирающим сердцем, но решительным тоном ответила Минни.

— Но это безумие, это безумие! — хватаясь за голову, твердил ювелир Уорсмэн. — Нам едва ли удастся выручить и две трети!

— Тогда не покупайте ожерелья! — предложила Минни.

— Мы попробуем образовать компанию на паях для покупки ожерелья, — предложил молчавший во время переговоров красноносый старичок. — Но миссис Дэвитт, конечно, пойдет на уступку. Ста тысяч долларов ей, конечно, никто и никогда не даст! Она женщина благоразумная! Если само счастье плывет ей в руки...

— Сто тысяч — и ни цента меньше! — решительно сказала Минни. — Я, действительно, не родственница мистеру Малькольму, но у меня есть близкая подруга, которая приходится ему племянницей. Мне не представит затруднений заинтересовать делом мистера Эбенезера...

Посетители переглянулись. Потом Уорсмэн вымолвил раздраженным тоном:

— Ну хорошо! Вы хотите нас ограбить, миссис! Пишите расписку!

— На сто тысяч долларов?

— Да, на сто тысяч! Но, клянусь самым сатаной, это безумие, это форменное безумие! И если мы обанкротимся, то это вы, Клэридж, будете повинны!

Минни, не веря своему счастью, потребовала, чтобы деньги были выплачены ей не чеком, а наличными деньгами. Покупатели на это согласились. Час спустя миссис Минни

Дэвитт и ее супруг вернулись из банка с набитым кредитными билетами чемоданчиком, и в тот же день уехали из обогатившего их столь случайно и столь щедро Сан-Франциско на свою родину.

Но что же это за таинственное ожерелье? Почему за него была дана такая колоссальная сумма?

...Больше ста лет тому назад в Париже шли торжества: генерал Наполеон Бонапарт сочетался законным браком с пожилой, но еще прелестной креолкой Жозефиной, вдовой Богарне. Наполеон тогда уже располагал солидными средствами, и он поднес далеко не богатой Жозефине целую серию свадебных подарков. В числе этих подарков было и янтарное ожерелье. Сама по себе его ценность была высока, но она еще повышалась тем, что на части зерен одним из знаменитейших парижских ювелиров тех дней были вычеканены или выгравированы при помощи лупы тончайшими черточками арабески и в них — целый ряд цитат из писем Наполеона к Жозефине того времени, когда будущий император без памяти влюбился в красавицу-вдовушку.

После крушения Первой Империи ожерелье Жозефины, вместе с многими другими вещами из ее обихода, сделалось достоянием государства и в течение многих десятилетий хранилось в музее Лувра. Еще в пятидесятых годах любители предлагали за него полтораста тысяч франков. Теперь его цена во много раз выше. Компания ювелиров из Сан-Франциско, купившая это ожерелье, почти немедленно перепродала его уже за полмиллиона франков какому-то американскому собирателю редкостей, архимиллионеру.

Но как это историческое ожерелье, эта реликвия могла попасть в руки китайского старьевщика?

Это остается загадкой.

Достоверно установлено, что ожерелье еще числилось в регистрах Лувра лет сорок пять или пятьдесят назад, а затем исчезло. Странно, что пропажа драгоценности тогда не вызвала шума, не обратила на себя внимания общества, — но это так. Где ожерелье скиталось, кто его похитил, к кому из рук в руки оно переходило, каким образом пер-

вый вор, который должен был знать, что ожерелье представляет огромную стоимость, — мог сбыть его, — все это, вероятно, так и останется навеки тайной.

Балета

МИСТИЧЕСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

(Петербургские легенды)

Бесспорно, какой-то мистической, таинственной жизнью одухотворено все то, на что положило время свою печать.

В особенности дышат и трепещут этой странной жизнью предметы искусства: древние картины, мрамор, произведения ювелирного искусства.

Немало гуляет по белу свету легенд, связанных с фамильными кольцами, браслетами. Целые захватывающие романы посвящены таким браслетам и кольцам.

В них таится частица души тех, кто носит их и носил. Есть фатальные драгоценности, фатальные для бесконечного ряда поколений.

И трудно сказать, где кончается мистическая легенда и начинается действительность.

Обладательницей одной из таких мистических драгоценностей в Петербурге является вдова генерала, Мария Дмитриевна фон Эксе. Принадлежит ей, — без всякого преувеличения, — единственное в мире ожерелье, составленное из так называемых египетских «жуков». Этим оливковым, испещренным иероглифами жукам — по несколько тысяч лет. Эти жуки покоились в гробницах фараонов и египетской знати, как амулеты.

Ожерелье, которое не оценишь ни в какие миллионы, принадлежало владетельной княгине Гика, прабабке г-жи фон Эксе.

Вот иллюстрация исключительной ценности этого ожерелья:

Одна очень высокопоставленная особа, вернувшись из свадебного путешествия с супругом своим по востоку и увидев у г-жи фон-Эксе это ожерелье, заметила:

— Какая вы счастливая!.. А мне хедив поднес в дар одного жука, последнего, которым он обладал.

В семье М. Д. фон Эксе из рода в род переходило, что ни под каким видом не следует пытаться «расшифровывать» иероглифы «жуков».

Любопытных ждет трагическая судьба.

Бабушка г-жи фон Эксе, не утерпев, обратилась к одному египтологу с просьбой перевести на французский язык «литературу», которой покрыт хотя бы один какой-нибудь

из целой гирлянды «жуков».



Египтолог исполнил просьбу.

И что же, спустя самое непродолжительное время, здоровая и крепкая старуха вдруг внезапно скончалась.

Мистическое ожерелье отомстило за попытку разгадать его тайну, теряющуюся в сумраке тысячелетий...

Это было первое «предостережение».

Что касается Марии Дмитриевны фон Эксе, она никогда не расстанется с этим мистическим ожерельем, но и никогда не пытается проникнуть в его заповедную тайну.

В Европе есть коронованные особы, могущие похвастать в своих коллекциях двумя-тремя египетскими жуками, но кольцо из них, повторяем, — единственное.

Оно в Петербурге...

Борис Мирский

**ЛЕГЕНДА ТАВРИЧЕСКОГО
ДВОРЦА**

Белоколонный потемкинский дворец хранит неразгаданную страшную тайну.

В его старых стенах живет таинственная, жуткая легенда.

В день открытия 4-ой Государственной Думы к нескольким видным депутатам левых фракций обратилась г-жа Л.

Г-жа Л. — скромная служащая в хозяйственном отделе Думы.

— «Вы не поверите мне, вы подумаете, что я фантазирую, — но прошу вас, выслушайте меня, — взволнованно говорила молодая женщина.

Я живу уже три дня в каком-то кошмаре...

Это началось так.

Ночью мне приснился непонятный, страшный сон.

Я иду по темным коридорам. Наконец вхожу в какую-то комнату. Низкая, темная с одним крошечным окошком.

Посередине сидит за столом бледный молодой человек. На нем странный наряд — шитый екатерининский камзол, туфли, чулки, на голове парик.

Он заметил меня — посмотрел.

Мне кажется, что я никогда не забуду этого взгляда...

В нем было столько тоски, столько отчаяния невыносимой муки...

Целый день я была под тяжелым впечатлением этого непонятного сна.

На следующую ночь повторилось то же самое — я снова была в таинственной комнате, и снова видела бледного молодого человека... Мне казалось, что я схожу с ума!

Ночной кошмар давил меня — всюду и везде мне мерещилась проклятая комната.

Сегодня с утра я была в Думе. Около часа мне поручили принести одну бумагу и я должна была пройти через полуподвальный коридор.

Какое-то странное и жуткое чувство заставило меня открыть "ту" дверь и войти.

Я очутилась в... комнате бледного человека!

Я чуть не упала в обморок. Я... здесь... в этой страшной комнате. Здесь сидел... он!..



Объясните мне, что это значит! — я ничего не понимаю...

Но я чувствую, что во всей этой истории кроется какая-то жуткая тайна. Мне страшно...»

Этот рассказ произвел на депутатов сильное впечатление. Народные избранники забыли на время свою политику, свои дела, свои выборы, свои речи, комиссии и проекты...

Начались расспросы, — и депутаты узнали легенду Таврического дворца, открытую таким необычайным образом г-жой Л.

Это было давно-давно. Когда еще в Таврическом дворце жил всемогущий баловень счастья, любимец великой им-

ператрицы князь Потемкин.

Для князя наступили тяжелые дни. «Великолепный князь Тавриды» видел, что у трона появляются новые люди. Потемкин угасал... Один раз поздним вечером привезли во дворец какого-то юношу.

Привезли и заперли в одной из комнат нижнего этажа.

Князь строго-настрого запретил даже проходить мимо дверей комнаты, в которой помещался таинственный узник.

С тех пор никто уже не видел молодого человека...

Говорили, что по ночам слышались ужасные стоны и рыдания. Обитатели дворца со страхом и трепетом прислушивались к этим крикам.

А потом, однажды ночью, растворились двери таинственной комнаты — оттуда кого-то вынесли...

Юноша исчез.

Кто он, этот бледный молодой человек, погибший ужасной смертью в тайниках Таврического дворца?

Это тайна...

И теперь неведомые силы заставили снова вспомнить о тайне старого дворца.

Ал.

ДОМ С ЧЕРТОВЩИНОЙ

В каждом городе есть свой полицейский участок и свой «таинственный дом».

Дом, о котором рассказывают всякие ужасы вперемешку с глупостями, в котором никто не может прожить больше месяца и ночевать, в который ходят местные отчаянные храбрецы, для которых якшаться с чертом — сущие пустяки.

Есть такой дом и в Петрограде, на Гороховой улице.

В сущности, это даже не дом, а — квартира, одна из квартир большого старого дома.

В доме все шло вполне благополучно.

И только одна квартира № 33, — три комнаты и кухня, с одним входом со двора — только эта одна квартира создала всему большому и почтенному дому репутацию таинственного.

Лет 25 назад в квартире поселился старик, торговец старым платьем и картинами. Прожил он 15 лет, аккуратно платил в домовую контору сперва 22 рубля, потом 27 рублей, потом 33 рубля...

Веской вдруг неожиданно ликвидировал свою торговлю, продал всю мебель и объявил, что 17 сентября уезжает в Америку, к сыну, который давно зовет его.

А в мае ушел из дома и исчез. Все лето квартира стояла без хозяина, пустая, а 17 сентября в Ижоре выбросило на берег труп неизвестного старика, в котором с трудом опознали торговца платьем...

Когда приступили к ремонту освободившейся квартиры, то, между прочим, обратили внимание, что потолок в одном углу большой комнаты протекает. Потолок заделали, квартиру оклеили свежими обоями, полы и окна покрасили и, набавив, как водится, плату, стали сдавать.

Осенью снял квартиру семейный приказчик с дровяного двора, что по Фонтанке. Пожил с неделю и заявил, что потолок протекает. Опять побелили, высушили, замазали.... прошло дней десять и снова закапало с потолка. Течь образовалась, как нарочно, в том углу, где стояла кровать приказчика. Пришлось перетащить кровать в другой, неудобный угол, заставив одну из дверей...

Но, к ужасу квартиранта, капать начало в новом углу и опять как раз над его кроватью. Перетаскивали кровать к окнам — и закапало с потолка у окон; перетаскивали на середину комнаты — опять капало...

Течь в потолке бегала за кроватью, передвигаясь незаметно, ночью, и капля за каплей роняла мутную воду на голову и лица спящих на кровати.

Помучавшись с перетаскиванием кровати, лесной приказчик, с разрешения домово́й администрации, квартиру бросил в середине зимы и выехал.

Квартиру 33 снова тщательно отремонтировали и вывели у ворот красный билетик: «Сдается».

Почти 7 месяцев простояла квартира пустой, и нигде не капало. Свежевыбеленный потолок выглядел новеньким, сухим и чистым.

Осенью квартиру снял часовой мастер А. И. Орехов, которого в кругу столичных часовых мастеров хорошо знали, как изобретателя-самоучку.

Только что переехала довольно большая семья Орехова, как с потолка закапало и опять — над кроватью. Как ни передвигали кровать — с потолка капало и капало, течь бежала за кроватью, точно преследовала ее.

Заявили домовладельцу. Приглашали архитектора, осмотревшего чердаки, ощупавшего каждую балку; перевернули все трубы водопровода, приезжала городская комиссия, лазил на чердак сам домовладелец в сопровождении членов ореховской семьи. Наконец, служили в таинственной комнате молебен и окропили святой водой потолок, стены, кровать, лестницу...

Но с потолка капало.

К пишущему эти строки пришел Орехов и жаловался. Мы вместе отправились осмотреть квартиру. Ходили и на чердак. Там все было сухо, пыльно и обыкновенно. Чердак, — как чердак. А в большой комнате, как раз над кроватью, по потолку расплзлось большое бурое пятно, — члены семьи жаловались, что жить в этой квартире стало невозможно, что течь в потолке бежит за кроватью, что уйти от нее нельзя, так как «черт поселился здесь прочно».

В самом деле, в этом упорном капанье было что-то таинственное, непонятное, какая-то чертовщина.

Члены ореховской семьи рассказывали еще о каких-то шагах на чердаке, вздохах и столах, о колокольчике, который сам звонит в полночь и проч. Этому не верилось. Но пятно на потолке было передо мной, а с другой стороны — я собственными глазами видел сухой пыльный чердак...

Есть явления, которые не могут объяснить ни архитекторы, ни городская комиссия.

Эти явления и называются у нас «чертовщиной»...

Орехов с семьей выехал из квартиры, и она долгое время стола пустой, с сухим белым потолком...

В начале войны ее сняли.

Капает ли сейчас — не знаю.

Валентина Корш

ЖЕНЩИНА-ПРИЗРАК

В маленьком городишке одной из северных губерний царило необычайное оживление. Открылась ярмарка. В этом году съезд был настолько велик, что уже давно все харчевни, постоялые дворы и единственная небольшая гостиница города были переполнены. А люди все приезжали...

К 7-ми часам утра к двухэтажному деревянному зданию, арендованному каким-то купцом с целью устроить в этом помещении общественный клуб, подъехала коляска, запряженная рослыми породистыми лошадьми.

Из коляски вышли несколько человек. Это были соседние помещики.

Узнав от сонного швейцара, что их знакомый Николай Михайлович приехал еще накануне, они направились к нему.

Несколько мину спустя компания уже сидела в большом номере, прислуга хлопотала у самовара, а Николай Михайлович с какой-то загадочной улыбкой рассказывал, что прибыл сюда еще накануне вечером и провел всю ночь в полном одиночестве в этом двухэтажном здании.

— Вы были совсем одни? И вы не боялись? Вас могли ограбить!..

Николай Михайлович разливал чай и таинственная улыбка не сходила с его лица. По глазам было видно, что он собирается рассказать что-то необыкновенное.

Наконец он произнес:

— Вообразите... Сегодня ночью я видел привидение.

— Привидение?.. Ну, полно! Вы шутите! Этого не может быть! — раздались кругом возгласы.

Николай Михайлович задумчиво произнес:

— Нужно вам сказать, что это самый замечательный случай в моей жизни... Вы прекрасно знаете, что я ни во что не верю... Я большой скептик... Но вчера поздно вечером я несомненно видел привидение!

Кто-то усмехнулся.

— Это было в коридоре, — продолжал Федоровский.

— И вы говорили с этим... привидением?.. — полюбопытствовал один из присутствующих.

— Мы вели весьма продолжительный разговор.

— И что же? Ваше привидение оказалось веселым... собеседником?

— Бедняжка... Это была женщина... Она была такая грустная... Она плакала! — сочувственно произнес Николай Михайлович. Он вздохнул и, вызывая свои ночные видения, продолжал:

— Она рыдала...

— Быть может, вы расстроили ее?

Но Николай Михайлович продолжал:

— Я никогда не мог бы себе представить, чтобы привидения могли быть такие грустные...

Наступила пауза.

— Видите ли, — заговорил он после нескольких минут молчания, — привидение сегодня ночью навело меня на некоторые размышления. Я думаю, что существа, покинувшие этот мир, ничуть не изменяются... и на том свете...

Я вижу, что мои слова вас заинтересовали... Я расскажу вам совершенно откровенно то, что произошло сегодня ночью со мною. Заранее предупреждаю вас, что передаю вам факт. Я увидел женщину-призрака, как уже говорил, в коридоре. Она стояла ко мне спиной... Я первым ее заметил. Сразу понял, что это привидение. Это было прозрачное воздушное существо... Она так беспомощно, так растерянно водила руками по обоям...

Она была маленькая, худенькая, изящная... Напоминала тот тип женщин, которых мужчины называют миниатюрными... Тело плоское... Худенькие, чуть ли не детские плечики, крохотные ручки и ножки... Маленькая головка... Темные волосы ее были небрежно заплетены в косы. И вся она была закутана в газовые волны... В коридоре горела маленькая стенная лампочка... Проходя мимо призрака, я как-то невольно остановился. Уверяю вас, господа, я не испытывал никакого страха... Я был удивлен... и заинтересован...

Когда я остановился, она меня заметила. Быстро повернулась по моему направлению. Тогда я заметил матовую бледность ее лица, большие глаза какого-то странного стального цвета, маленький рот с бескровными губами... И во всем ее существе был отпечаток чего-то слабого, детского... Спер-

ва мы молча смотрели друг на друга. Потом она что-то сообразила, словно вспомнила. Выпрямилась, вытянула вперед руки и направилась прямо на меня. В это время она издала слабый неопределенный звук... Мне ничуть не было страшно. Казалось, что на меня направляется летучая мышь.

— Прошу вас без шуток, сударыня! — сказал я. — Меня не испугаете! Скажите-ка лучше, что вам здесь угодно?

Она вздрогнула и опять издала какой-то странный звук.

Я продолжал:

— Скажите мне, кто вы?

И, чтобы доказать, что я ее не боюсь, я ближе подошел к ней.

— Ответьте, прошу вас.

Она посторонилась и едва внятно прошептала:

— Я — призрак!

— Призрак! — весело повторил я. — Я видел много женщин, но призраков — никогда. Но скажите, что вам здесь угодно? Быть может, вы желаете кого-нибудь видеть? Вы ищете кого?

Теперь женщина-призрак стояла передо мною, опустив руки, нерешительно, словно ребенок, застигнутый врасплох за шалостями.

Она тихо проговорила:

— Я исполняю роль привидения...

— Скажите, пожалуйста, — спросил я, — кто вам позволил совершать ночные экскурсии?

— Но ведь я же — призрак... — робко объяснила она.

— Я не спорю с вами... Но вы не имеете права показываться здесь. Этот дом — общественный клуб. Внизу для членов отдаются меблированные комнаты. Мы будем останавливаться здесь с нашими женами, с детьми. А при вашем блуждании по коридорам вы можете встретиться с кем-нибудь и страшно напугать... Мне кажется, что вы это обстоятельство упустили из виду. Не правда ли?

— Да, вы правы... Но ведь в этом доме никто не жил уже больше года... Я думала, что никому не помешаю.

— Вы ошибаетесь, сударыня... И знаете, если бы я был на вашем месте, я немедленно улетучился бы.

Она казалась смущенной.

— Вот в этом-то и суть, — грустно заговорила она, — что я не могу исчезнуть. Я пробовала уже несколько раз. Я так утомилась... Сил больше нет... Я забыла один маленький прием... И никак не могу его вспомнить...

Она так беспомощно смотрела на меня, что мне ее стало жаль. В это время внизу стукнула парадная дверь. Раздались чьи-то шаги. Я предложил моему призраку пойти в мой номер и рассказать мне боле подробно, что с ним произошло... Откровенно говоря, я ничего не понимал... Я хотел было ее взять под руку, но никак не мог уловить ее руки... Я осязал что-то воздушное, неуловимое... Мысли путались в голове, я совершенно забыл, где находилась моя комната. И прежде, чем ее отыскать, мне пришлось открыть несколько соседних дверей. Наконец, я нашел свой номер. Мы вошли. Я опустил в большое кресло и предложил моему призраку сесть напротив. Но она продолжала летать по комнате... Это не мешало нам разговаривать друг с другом...

Да, я забыл сказать вам, что обедал я вчера с шампанским и выпил изрядно. Но вскоре винные пары рассеялись, и я стал трезво смотреть на вещи. Это было весьма оригинальное положение. Я находился в номере вдвоем с женщиной-призраком. Хотя это был призрак, но все же это была женщина... Я не спускал с нее глаз... Когда она пролетала мимо зажженной свечи, я видел, как ее тело просвечивало.

Она рассказала мне историю своей земной жизни. Она выросла в бедной семье. Вышла замуж за чахоточного субъекта, которого не любила... У нее не было детей, несмотря на ее страстное желание... После семи лет скучной семейной жизни, она влюбилась в красавца-доктора. По ее словам, этот мужчина умел любить... Она была безгранично счастлива с ним. Но счастье ее продолжалось недолго. Доктор ей скоро изменил. Это был ветреный человек. Он не только изменил ей, но даже издевался над ее любовью... В конце концов, она была так несчастлива, что отравилась.

После долгой беседы она вновь пожелала исчезнуть. Но все усилия были тщетны; она расплакалась...

— В чем выражались ее усилия? — перебил Сорокин.

— Она делала разные жесты руками... То быстро вертела ими в воздухе, то протягивала их в мою сторону.

— Я не могу... — говорила она. — Мне не удастся никогда исчезнуть с земли.

При этих словах она упала в кресло и разразилась громкими рыданиями... По-видимому, это была истеричная натура...

— Вы знаете, господа, я не могу видеть женских слез...

— Ну, полно, — говорил я, — не плачьте!.. Не приходите в отчаяние.

В эту минуту я забыл, что передо мной привидение и по привычке, видя плачущую женщину, я подошел к ней, чтобы ласками ее утешить, поцелуями осушить ее слезы... Но мои руки скользили по воздуху... И впервые легкая дрожь пробежала по телу, я отошел от нее к этому туалетному столу. Внезапно мне пришла в голову блестящая мысль.

— Хотите, я вам помогу? Давайте жестикулировать вместе!

— Неужели вы на это решились? — раздались возгласы. — И вы не боялись исчезнуть вместе?

Николай Михайлович загадочно улыбнулся.

— В то время я об этом совершенно не думал, — тихо проговорил он. И его красивые глаза задумчиво остановились на ярком пламени камина.

Наступила пауза.

— И вообразите, — вновь заговорил Николай Михайлович, — исчезновение ей вскоре удалось. Она несколько раз приходила в отчаяние и просила меня жестикулировать с ней.

— Когда вы одновременно со мной делаете движения, я вижу их недостатки, — говорила она.

И после нескольких минут совместной плавной работы руками она радостно произнесла:

— Я, кажется, вспомнила. Но вы не смотрите на меня, иначе ничего не выйдет. Вы видите, я такая неопытная, нервная...

Мы начали спорить. Я непременно хотел видеть эту метаморфозу. Я страшно упрям. Мы долго спорили. Но она, наконец, меня утомила. Я подошел к этому трюмо и начал смотреть в зеркало. Она по-прежнему таинственно махала руками и постепенно ускоряла взмахи. Внезапно вся она как-то странно вытянулась и замерла... И ее не стало. Я обернулся. В комнате не было никого. Что с ней произошло? Куда она девалась — я ничего не мог понять... В это время в ночной тиши часы на лестнице пробили три удара. Я стоял посреди комнаты и как-то странно себя чувствовал...

Николай Михайлович умолк.

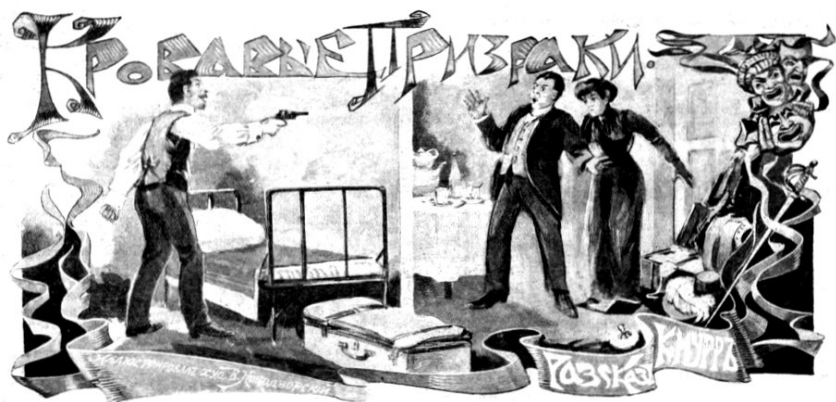
— И вы легли спать после этого привидения?..

— Ну конечно, что мне еще оставалось делать? — смеясь, ответил Николай Михайлович.

К. Мурр

КРОВАВЫЕ ПРИЗРАКИ

Илл. В. Новодворского



Ломжину очень скучно было Новый Год встречать одному. Судьба занесла его в уездный городок Т***; дело, по которому он поехал, было спешное и неотложное, и для этого он выехал из Петербурга чуть ли не в самый день Рождества.

Комната, отведенная ему в гостинице, смотрела грязно и неприветливо, в окно бились оголенные ветви каких-то кустарников и при каждом порыве ветра что-то жалобно пищало и вертелось над дверью. Убогая обстановка номера, полинялые обои и мебель, безотрадный вид из окна, — все действовало угнетающе на настроение, а между тем, деваться было некуда, так как знакомых в городе у него не было никого.

Ломжин с отвращением опустилсЯ на кровать с дрожащими ножками и погрузился в размышления, как скоротать бесконечный вечер и как встретить Новый Год?

Чтобы удобнее было соображать, он постелил под голову чистый платок, лег на спину и закрыл глаза. Через несколько минут он уже спал крепким сном, слегка всхрапывая и равномерно и спокойно дыша.

В коридоре слышались шаги, защелкали замки, опустили на пол что-то тяжелое, заскрипела корзина. Кто-то приказал втащить се в номер, и рядом с Ломжиным, почти у самого его уха, раздались голоса. Но он ничего не слышал и спал, не двигаясь, все в том же положении, утом-

ленный суетой проведенного дня.

В соседней комнате было шумно; развязывали корзину и веревка беспрерывно шлепала по полу, хлестала дверь и била по чем попало. Слышно было, как спешно раскладываются двое: мужчина и женщина. Сквозь дверные щели потянуло дымом папироски.

— Это безобразие, — жаловалась *она* капризным голосом, — некуда шляпы класть, так и придется в картонке оставить.

— Не знаю, куда фрак пристроить. Ну, гостиница! И эта считается лучшей. Могу себе представить, какие должны быть остальные, — сказал *он* мягким, низким голосом с едва уловимым, но приятно действующим на слух, ясным произношением.

— Нельзя терять ни минуты, — снова заговорила *она*, — надо успеть закусить, потом тебе повидать Лукошкина и условиться, в котором часу собираться завтра.

— Да, да, но прежде платья важнее всего развесить, все сомнется, — волновался *он*. — Легко сказать, — один шкаф на двоих! Придется все спинки стульев превратить в вешалки.

Началось какое-то передвижение, затем звякнула посуда, звали слугу, и через четверть часа голоса и шум в соседней комнате доносились уже сквозь шип и бульканье самовара.

Ломжин мерно посвистывал носом, не меняя положения и слегка полуюткрыв рот.

Рядом было тихо: от времени до времени по полу постукивали каблучки, и нежный голос напевал: «Не зажигай огня. Не отгоняй мечты...».

Но тишина и тихое пение продолжались недолго. Вскоре хлопнула дверь и вновь заговорил мужской голос.

— Завтра, в десять часов, все будут в сборе. Заходил к нашим. Можно сказать, что они прямо в конурах пристроились. Знать бы заранее, — не стоило бы и заезжать в этот городишко, только риск простудиться, и больше ничего.

Она что-то отвечала, но шум передвигаемых стульев заглушил ее слова.

— Нельзя терять времени, давай скорее начнем, — снова заговорил он. — Возьмем с конца. Не стоит устраивать, — все равно тало места.

— Постой, постой, — перебила она, — все же так легче.

Несколько стульев разом поехало по полу, один зацепил за что-то и упал.

Ломжин перестал всхрапывать и наполовину проснулся.

— Верна ли ты мне, Анна? — послышался за стеной вкрадчивый голос.

— Опять за старое? — раздалось в ответ. Ломжин настоялся.

— Как мне не спрашивать, как мне не мучиться, — внезапно застонал он, — когда ты так прекрасна, когда глаза твои, как сказочные звезды, испускают волшебные нити и влекут к себе и неудержимо притягивают всех... Я люблю тебя, Анна, люблю... Любила ли ты когда-нибудь, поймешь ли ты, какая это мука любить и вечно сомневаться в той, которую любишь?..

— Довольно, довольно, — нетерпеливо перебила его она и топнула ногой, — есть дело важнее, чем твои старые песни, кстати, все они звучат на старинный, избитый мотив. Если хочешь удержать Анну возле себя, то возьми гитару и настрой струны на новый лад и спой мне песнь новую про любовь. Спой песнь такую, чтобы я могла назвать ее твоею песней, песнью Андрея и больше ничьей, тогда и я буду только твоей, слышишь? А теперь за дело и повинуйся.

Ломжин протер глаза, убедился, что не спит и, боясь пошевелинуться и выдать свое присутствие, стал слушать.

— Я раб твой, Анна, приказывай, — услышал он голос Андрея.

В комнате нависло тяжелое молчание и Ломжину стало жутко.

— Анна, Анна, — наконец, простонал Андрей и упал на колени, — все, что хочешь, заклиная тебя, но только не требуй от меня ключа, молю тебя, сжался...

— Дай мне ключ, — раздался ее холодный, бесстрастный голос.

— О, пощади его, молю тебя! Меня, лучше меня убей, но не его, он невинен, клянусь тебе...

— Дай ключ, — грозно прозвенел ее голос.

У Ломжина на лбу проступила испарина и он стал спускать одну ногу с кровати.

— Так знай же, я не отдам ключа, будь что будет, — решительно заявил Андрей, — но я не допущу, чтобы волос упал с его головы.

— Так вот она, твоя любовь, ха-ха, много она стоит. Какой же ты мужчина! Ты тряпка, ты ничтожество... ты...

— Ты посылаешь меня на преступление?

Ломжин спустил обе ноги на пол и нащупал в боковом кармане револьвер.

— Пойми, — вдруг страстным голосом зашептала она, — если удача, — мы спасены, мы богаты, мы, как птицы, развернем крылья и под звон золота, упавшего нам с неба, умчимся в далекие края.

— Ты говоришь: с неба, Анна. Может ли небо благословлять убийство!

— Ах, брось твои проповеди, мне скучно слушать... довольно говорить, пора действовать.

Внезапно произошло что-то ужасное: очевидно, она вцепилась в него, и завязалась борьба. Ломжин слышал, как они упали на пол и она, стиснув зубы, повторяла: «Дай ключ, дай ключ...», а он всеми силами отбивался от нее..

Ломжин бросился в своей двери, — ключа не было.

Он попробовал отворить дверь, — она была заперта. Он ясно почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове.

Что теперь делать? Ясно, что они вытащили ключ, и если Андрей уступит, — его убьют, как мышь, запертую в мышеловке.

— А!! — раздался торжествующий крик, от которого у Ломжина мороз пробежал по коже, — вот он! Пропусти меня, жалкое создание.

— Ты не пойдешь, — прохрипел Андрей, и опять завязалась борьба.

Ломжин бросился к звонку, но проволока болталась по стене: звонок срезан и он заперт!

Он кинулся к окну, но перед ним были двойные рамы, без признака форточки. Он схватился за голову и уже не слышал, что творится рядом. Он ждал, что вот-вот распахнется дверь и его убьют, зарежут, свяжут. Он зажал в руке револьвер и, готовый на все, решил дорого заплатить за свою жизнь.

— А!! Ты не слушаешь меня, — так я сама покончу с ним, — раздался над самой его головой истерический вопль. Он, не помня себя, вскочил и, потрясая револьвером, что было силы, заорал:

— Назад или убью на месте!

Внезапно кругом наступила могильная тишина. Сколько времени продолжалась она — Ломжин не мог бы сказать; из соседней комнаты не доносилось ни звука, будто и Андрей, и Анна внезапно умерли. Сердце больно ударяло в грудь, а рука судорожно сжималась и разжималась, стискивая рукоятку револьвера.

Внезапно и совершенно неожиданно для самого себя Ломжин выстрелил и рядом громко воскликнули.

— Струсили! — как молнией пронеслось у него в голове и он крикнул не своим голосом:

— Отдайте мне ключ немедленно!

В комнате зашептались и послышались торопливые, заглушенные шаги.

— Вы слышите, отдайте ключ немедленно или я стрелять буду в перегородку, — орал Ломжин, в упор целя в стену.

— Кто там? Что вам надо? — послышались испуганные голоса Анны и Андрея.

— Я все слышал, — ревел Ломжин. — Вы заперли меня, отрезали звонок!

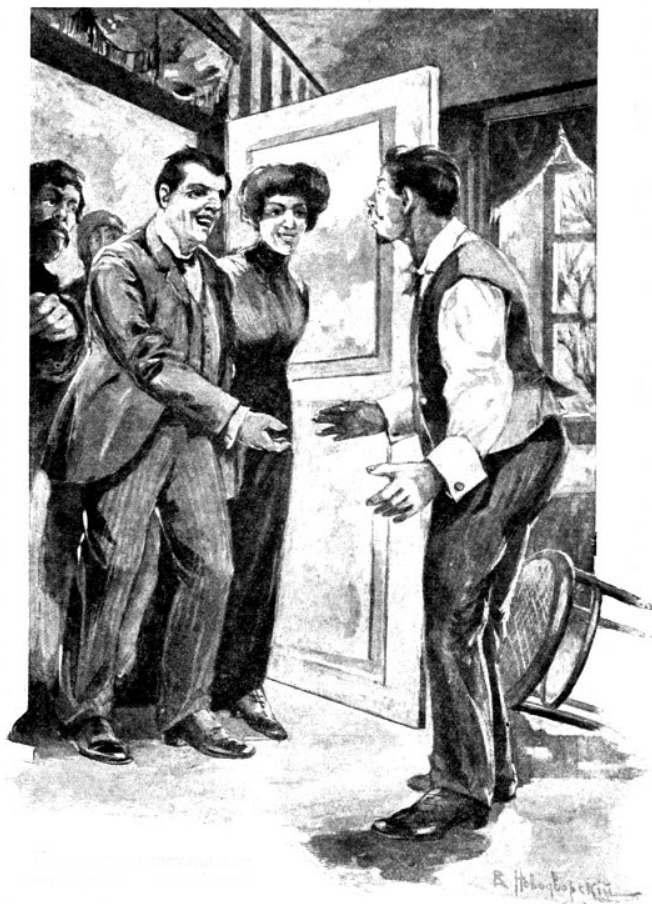
В коридоре затопали, заходили, очевидно, прислуга сбегалась на выстрел. Ломжин облегченно вздохнул и еще смелее крикнул:

— Ну что же, скоро отопрете мою дверь?

Но вместо ответа за перегородкой послышался неудержимый хохот.

Ломжин невольно опустил руку с револьвером в карман и нащупал ключ!

За стеной с кем-то делалось дурно от смеха, а мужской голос все надсаживался и заливался на самых высоких нотах.



Смутно предчувствуя что-то необычайное, Ломжин отпер дверь и лицом к лицу столкнулся с высоким господином, в упор глядящим на него. Господин ЭТОТ безобраз-

но морщил нос и хохотал до упаду.

— Позвольте представиться, — сквозь слезы, выступившие от смеха, проговорил он. — Несмелов-Сокольский, драматический артист, а это супруга моя, известная артистка — Чайкина-Горева... ой... не могу... мы репетировали конец драмы «Кровавые призраки». Завтра выступаем.

Никогда Ломжин не встречал Нового Года так весело, как в этот раз в городке Т*** среди веселых, гостеприимных артистов труппы Несмелова-Сокольского.

Аркадий Аверченко

ЭКЗЕКУТОР БУРАЧКОВ

Илл. О. Арбина



Еще если бы я рассказывал все нижеследующее со слов других, то можно было бы усомниться в правдивости рассказа; но так как все нижеследующее происходило на моих глазах, — то какое же может быть сомнение?

Я ведь знаю не хуже других, что лгать — стыдно.

* * *

На спиритическом сеансе нас было немного, но народ все испытанный: генерал Сычевой, владелец похоронного бюро Синявкин, два брата Заусайловы, хозяйка квартиры, где происходил сеанс, старая дева Чмокина, медиуме и я.

Собирались мы в этом составе уже не первый раз, и начало сеанса не предвещало ничего особенно выдающегося: когда медиум заснул, начались стуки, подбрасывание коробки со спичками и обычное, довольно немзыкальное треньканье на гитаре.

— Это все скучно! — зевая, сказал Синявкин. — Сегодня, для ради сочельника, можно было бы ожидать чего-нибудь и получше. Не правда ли, госпожа медиум?

Так как это был перерыв и женщина-медиум уже пробудилась от своего медиумического сна, — она застенчиво поежилась и сказала извиняющимся тоном:

— Можно положить на пол простыню! Дух ее подымет.

— Ну, тоже важная штука! Это и на прошлом сеансе было и на позапрошлом... Нет, вы нам чего-нибудь побойчей покажите!

— Что ж я могу, — пожала плечами Фанни Яковлевна (так звали медиума). — Вы же сами знаете, что это не от меня зависит!

— Так-то оно так, — разочарованно протянул Синявкин. — Ну-с, приступим.

Притушили свет, и Фанни Яковлевна, глубоко и судорожно вздохнув, почти моментально заснула.

Минуты три мы сидели в глубоком молчании.

Наконец, генерал Сычевой спросил сонным, силным голосом:

— Дух, ты здесь?

Дух стуком ответил:

— Здесь.

— Кто ты такой?

Дух потребовал азбуку. Девушка Чмокина монотонно начала:

— А, б, в, г...

Несколько стуков — и мы узнали не только фамилию духа, но и его профессию:

— Экзекутор Бурачков.

— Новый дух, — прошептала Чмокина. — Такого еще не было.

— Зачем ты здесь, дух? — осведомился Синявкин.

— Что за вопрос? Вызвали. Сами же вы вызывали.

— Да мы вызывали не тебя. К нам, обыкновенно, является дух Иды, танцовщицы...

Дух обиженно промолчал.

— Дух, ты здесь?

Дух слабо стукнул.

— Он еще слабенький, — ласково сказал старший брат Заусайлов. — Вы его пока не мучайте. Видите, как медиум дергается.

И продолжал еще более ласково, нежно:

— Ты слабенький еще, Бурачков? Ну, ничего, ничего. Ты усиливайся, голубчик, набирайся силы. Потом ты нам что-нибудь сделаешь... Сделаешь, Бурачков, а?

— Сделаю, — стукнул дух.

— Ну, вот и умница... Нам спешить некуда, мы подождем. Ты усиливаешься, а?

— Усиливаюсь, — более громко и уверенно отвечал дух.

— Вот и замечательно. Вот и приятно. Ты нам покажешься?

— Постараюсь.

— Вот и хорошо, милый. Старайся, трудись. Бог труды любит. Бурачковым тебя зовут?

— Бурачковым.

— Ну-ну. Это хорошо. Мы тебя уже любим, Бурачков.

Непосвященному в дебри спиритизма может показаться странным такое беспардонное подмазывание к духу, такое заискивание, такая грубая, ни на чем не основанная лесть. Но дело в том, что после случая с сенатором К., которого дух ударил по голове гитарой, мы все стали чрезвычайно осторожны в своих беседах с духами и старались все время мазать их елеем. Нам это ничего не стоило, а духа умягчало.

— Ты бы, может, показался нам, Бурачков? — проворковала Чмокина. — Конечно, если тебе не трудно...

При слабом свете было видно, как что-то туманное, белое завозилося в углу около рояля, заколебалось и стало сгущаться.

— Дух, что ты делаешь?—спросил генерал.

Дух явственно простучал:

— Я уплотняюсь.

— Ну, ну. Уплотняйся, голубчик. Это хорошо. Это ты здорово придумал. Уплотнишься, как следует, — и тебе приятно, и нам на тебя посмотреть любопытно.

Дух капризно простучал:

— Молчите.

— Молчим, молчим, — залебезила Чмокина. — Тссс! Тссс, господа. Дух просит молчать.

По мере того, как тише становились мы — дух делался все громче и громче: он шелестел нотами на пюпитре, судорожно хватался за крышку рояля, будто вытаскивая свое тело из какого-то узкого невидимого мешка, и кончил тихим, заглушенным, но довольно схожим с человеческим — кашлем.

Белое туманное пятно все густело, темнело и, наконец, стало настолько непрозрачным, что сквозь него перестали быть видимы предметы на заднем плане.

Это уже не было туманное, расплывчатое пятно.

Это было — тело.

Молчание среди нашего кружка сделалось тяжелым, жутким. Такую материализацию мы видели в первый раз.

...Стул, поставленный около рояля, закрипел под тяжелым материальным телом... и кашель послышался еще явственнее.

— Ну, что дух, уплотнился? — медовым голосом проурчал Синявкин.

И в ответ на это около рояля раздался уже не стук, а тонкий, какой-то заржавленный и сонный голосок:

— Какой же я дух?.. Хорошего духа нашли.

Все вздрогнули и сдвинулись ближе.

— Тебя зовут экзекутор Бурачков? — дрожащим голосом спросил Сычевой.

— Ну, без хамства, — с неудовольствием отвечал Бурачков, — что это еще за «ты»! Не люблю.

— Вот тебе и материализация, — прошептал трясущимися губами старший брат Заусайлов. — Что-то мне нехорошо делается.

— Вы, господин Бурачков, себя хорошо чувствуете? — спросила деликатная Чмокина, стремясь загладить происшедшее.

— Неважно, — с протяжным вздохом простонал Бурачков. — Очень даже неважно. Холодно мне.

— Генерал! Можно дать ему ваше пальто?

— Ну вот еще, — боязливо и недовольно пролепетал генерал. — А как же я... Ведь пальто с бобровым воротником.

— Но ведь он отдаст. Ведь при дематериализации не возьмет же он его с собой.

— А не зажечь ли свет? — предложил младший Заусайлов, трясаясь всем телом.

— Господин Бурачков... Можно зажечь свет?

— Ну, а то что ж... Впотьмах сидеть, что ли?

Щелкнул выключатель.

Фанни Яковлевна сильно втянула ноздрями воздух, вздрогнула и проснулась.

Взоры всех обратились в дальний угол, к роялю...

Около него, сгорбившись сидел человек с нездоровым землистым цветом лица, одетый в синий поношенный фрак и клетчатые нанковые панталоны со штрипками. Шею охватывал высокий воротник с черным галстуком.

Человек этот был не страшен.

Все встали со своих мест и, боязливо сбившись в кучку, стали подвигаться к нему.

— Ваша фамилия Бурачков? — робко спросил Заусайлов.

Бурачков поднял на нашу компанию свои измученные больные глаза и прохрипел в промежутке между кашлем:

— Ну да же! А то кто? Он самый. Экзекутор.

— Вы знаете, откуда вы явились?

— Не знаю. А что? Как-то я очутился тут, а почему — прямо-таки вот не знаю, и не знаю. Холодно тут и беспокойно.

Сгрудившись, все смотрели на эту понурую фигуру и молчали.

— О чем же с ним разговаривать? — недовольно спросил Синявкин. — Что может быть за разговор, если он ничего не помнит?

— Все-таки, это замечательно, то, что мы сделали, — весь трепеща от радостного возбуждения, сказал старший Заусайлов.

— Конечно, замечательно, — поддержал младший. — Этакая материализация! Другие кружки его у нас с руками бы оторвали.

Я осмелился и, бочком приблизившись к Бурачкову, спросил:

— Где вы были раньше, — помните?

— Не помню, — лениво проямлил Бурачков. — Что-то у меня нынче голова тяжелая.



— Замечательный случай, — радостно сказала Чмокина.
— Совсем живой человек. Послушайте... а где вы живете?

— Тут, — устало сказал Бурачков.

— То есть, как это — тут?! Это моя квартира.

— Ваша?

— Ну, да. А где вы живете?

— Не знаю. Я думаю, здесь живу. Раз я здесь, значит, здесь и живу. Спать мне хочется.

Все мы снова расселись по стульям и стали молча любоваться на вызванное к жизни произведение рук наших.

— Господа, — спросил Заусайлов-старший. — А он может дематериализоваться?

— Я думаю, — неуверенно сказала Чмокина. — Что ж ему тут делать?..

— Толку с него мало, — скептически заметил Синявкин. — Вызвать вызвали, а он ничего не рассказывает о том, что там. Тоже — дух называется!..

— Не помнит, — примирительно сказал я. — Мне его, в сущности, жалко. Смотрите, — сидит и ежится, и дрожит от холода. Отправить бы его обратно.

— А не оставить ли его так, как есть — в интересах науки?

— Ну, какие там интересы науки. Человек ничего не помнит, двух слов связать не может. Черт с ним! Дематериализуем его и конец.

У всех было странное тягостное ощущение и тайное желание избавиться от этого чересчур уплотненного призрака.

— Притушите свет, — скомандовал Сычевой. — Пусть медиум заснет.

— И верно, — подхватил Заусайлов. — Я думаю, что это даже грешно, то, что мы делаем... Действительно: вызвали человека, а зачем, и сами не знаем.

— Ну, и успокойтесь: отправим обратно! — раздраженно сказал Сычевой. — Тушите свет. Медиум, засните!

Все погрузилось в напряженное молчание. Только слышалось напряженное дыхание медиума.

— Дух, ты здесь? — несмело спросила Чмокина.

Ответом было молчание.

— Ты здесь, дух?!

Молчание.

— Ну, слава Богу, исчез. Давайте свет, да и пора расходиться по домам. Я сам не свой.

Щелкнул выключатель.

— Да, — недовольно сказал Сычевой, — исчез. Черта с два исчез! Торчит на том же месте.

Синявкин встал первый, потянулся и сказал:

— Ну, кто как хочет, а я спать пойду. Устал, да и поздно.

— Позвольте! — ахнула девица Чмокина. — А как же он? Ведь он сидит?!

— Да, действительно, — закусил Сычевой свой полуседой ус, — сидит. Гм!.. Ну, знаете что, Аглая Викентьевна?.. Пусть

посидит до утра, а там видно будет!

— То есть, как это так? — плаксиво сказала Чмокина. — Я так не хочу! Я — девушка, не забывайте вы этого! И мне, кроме того, страшно одной.

— Да ведь не одна же вы! — утешил Заусайлов-старший. — Он ведь тут тоже будет.

— Спасибо вам за такую компанию! Сами с ним оставайтесь!..

— Действительно, это неудобно! — задумчиво сказал Синявкин. — Надо, чтобы он ушел. Послушайте, вы... как вас?.. Бурачков! Ступайте домой!!

Бурачков поднял на него свои страдальческие больные глаза и жалобно простонал:

— Куда же я пойду! Я не знаю, где мой дом. Это, вероятно, и есть мой дом. Мне холодно.

— Нам наплевать на то, что вам холодно! А шататься по чужим домам тоже не фасон! — вспыхнул Сычевой. — И что вам вообще угодно?

Бурачков испуганно взглянул на сердитого генерала и понурился.

— Я не знаю, куда мне идти! Мне некуда идти..

— Вот тебе! Нажили на свою голову! — раздраженно сказал Синявкин. — А все Заусайлов. «Голубчик, ты уплотняешься? Ну, уплотняйся, уплотняйся!..» Вот он тут и уплотнился. Попробуйте, скovyрните его теперь!

— Вы зачем здесь?! — сердито сказал младший Заусайлов, обращаясь к призраку. — Вам что нужно? Это — ваша квартира? Это — чужая квартира! Вы хотите, чтобы мы полицию позвали? Она вам покажет, как уплотняться!

Бурачков молчал и только испуганно, исподлобья на всех поглядывал.

— Медиум! — вдруг осvirепел генерал. — Чего ж вы смотрите?! Это ваше дело избавить нас от него. Вы вызвали, вы и разделявайтесь, как знаете.

— Я же пробовала, — беспомощно пролепетала Фанни Яковлевна. — Ничего не выходит. Очевидно, он слишком уплотнился... Вы же сами просили...

В глубине комнаты тихо, как обиженный ребенок, плакала девица Чмокина. Ей казалось, что Бурачков никуда не уйдет отсюда и поэтому вся ее налаженная жизнь должна пойти прахом.

Генерал не мог видеть женских слез.

Он почти вплотную приблизился к Бурачкову и бешено гаркнул ему в лицо:

— Пошел вон!!

Бурачков только скорбно улыбнулся и прошептал:

— Ну, куда я пойду, ей-Богу?..

Положение создалось невыносимое; все стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не знали: уйти ли, бросив хозяйку Чмокину на произвол судьбы — или остаться вместе с ней до утра.

— А не позвать ли полицию? — спросил Синявкин.

— Неприятности могут быть. Ведь паспорта у него нет. Пойдут догадки, всякие подозрения...

— Да уж, без паспорта — это непорядок. Еще, если ты призрак, так сквозь пальцы посмотрят, а уж если уплотнился — тогда ни на что не посмотрят. Пожалуйте на цугундер!..

Я протиснулся поближе к Бурачкову и начал очень дипломатично:

— Скажите, господин Бурачков, а у вас тут, в городе, нет никого знакомых? Постарайтесь вспомнить.

— Позвольте... — призадумался совершенно измученный Бурачков. — Ну конечно же, есть! Столоначальник третьего стола Адриан Игнатъич Кокусов... Не изволите знать?

— Кокусов? — дипломатично сказал я, подмигивая своим компаньонам. — Кажется, знаю. Это какой Кокусов? Адриан Игнатъич?

— Ну да, — оживился он. — Это мой большой приятель. Он на Вознесенском в доме номер семь жил.

— Так поздравляю вас, — фальшиво засмеялся я. — Он там и сейчас живет. Я это доподлинно знаю.

— Серьезно?

Од был доверчив, как ребенок.

— Ну конечно. Ведь он женат?

— А как же. В 1832-м женился на Елене Петровне Гвоздиковой.

— Ну, так и есть! Я его знаю, — вскричал я. — Он мне часто говорил: «Соскучился, — говорит, — я по Бурачкову. Хоть бы одним глазком его повидать». Он вам будет очень рад.

— Как же, как же, — оживился Бурачков. — Приятели ведь мы. Я у него еще Ванечку крестил.

— Ну, Ванечка уже большой вырос. Совсем мужчина. Все про вас спрашивает. Вы бы навестили их.

— И то, пойду, — сказал он, добродушно кивнув мне головой и поднимаясь с места. — И то, пойду. Вот-то радость будет... Как же! Адриан Игнатьич... Ведь мы с ним еще с детства.

Он проковылял в переднюю, надел чью-то барашковую шапку, набросил на плечи поданное мною старое пальто, висевшее в передней без употребления — и, прихрамывая, покашливая, стал спускаться с лестницы

Мы стояли у окна и с торжеством глядели на этого допотопного наивного доверчивого чудака, которого удалось так легко сплавить...

На другой день девица Чмокина позвонила мне по телефону:

— Послушайте! Вы знаете? Ведь он нынче утром ко мне приходил. Слава Богу, меня не было дома и квартира была заперта. Я сказала швейцару, если еще придет — не пускать.

— Конечно, — одобрительно сказал я. — Гоните безо всяких рассуждений.

— Я и сам так думаю. Вы уж помалкивайте о том, что случилось. Мы все сговорились молчать. А то, Бог его знает, что может выйти.



Заметка в газетной хронике происшествий:

«Вчера в Лесном на опушке рощи был замечен висящий на дереве человек. Одет он был в типичный наряд чиновника сороковых годов. Вероятно, один из неудачников-актеров театра миниатюр, которые расплодились теперь, как грибы, а актеров содержат впроголодь. Бедняга, как предполагают, после спектакля побегал и повесился, не успев даже переодеться... Документов при нем не оказалось. Труп отправлен в Обуховскую больницу...»

Александр Измайлов

ДОСУГИ САТАНЫ

Илл. Н. Герардова



если я могу сказать, что я всю свою жизнь стремился к таинственному, то должен прибавить, что оно, в свою очередь, всю жизнь бежало от меня. Бежало во все лопатки.

Нужно быть немножко философом, чтобы понять, что, если мы пугаемся призраков, то совершенно так же призраки должны пугаться нас. У нас взаимная антипатия.

Когда я оглядываюсь назад, я вижу немало вычеркнутых вечеров, славных темных ночей, убитых на погоню за привидениями, точно так же бесплодно и бессмысленно, как если бы я проиграл их в карты. За все это время я видел очень мало духов и очень много жуликов.

Я принял столько телеграмм с того света при помощи стучащих столов, сколько их проходит перед телеграфистом хорошей станции в Новый год. Из них я сделал только

один вывод, — первейшие умы и таланты значительно глупеют, переходя в мир теней. Умные люди на земле, они, обыкновенно, диктуют через медиумов сплошные глупости. Я пришел к отчаянному выводу, когда Пушкин, — сам Пушкин! — продиктовал нам два стиха и оба с хромающими стопами.

Десятки вечеров, сотни новых лиц, новых столиков, новых обстановок! Но к какому неказистому шаблону сводятся все эти сеансы! Их, может быть, было сто три. Не пугайтесь, — я хочу рассказать только о трех.

I

...Она была очень почтенная и почти высокопоставленная дама. Когда она потеряла мужа, полного генерала, она стала религиозна, как монахиня.

Я встретил ее в одном чопорном и чинном доме аристократической складки. Это был совсем не мой круг. Тут собирались важные консервативные генералы, необыкновенно почтенные матроны со следами бывлой красоты, в траурных платьях и с какими-то внушительными старомодными наколками на голове.

Победоносцева, Игнатьева, Плеве здесь звали не иначе, как по имени и отчеству. Реакционный публицист, известный всей России, вещал здесь, как оракул, попивая крепкий чай с великолепным медом, и на него звали, как зовут на пельмени или пирог. Я ходил сюда, как художники ходят на этюды.

Я имел честь с места понравиться генеральше. Тогда она увлекалась католицизмом, и целый час я выкладывал ей все, что знал о католиках и папе. Когда через несколько месяцев я встретил ее в другом доме, она была уже вся во власти спиритизма. Она так и ухватила за меня обеими руками.

— Передо мной открылся новый мир,— восторженно заговорила она, сейчас же сама переводя сказанную фразу на французский, точно я был истый парижанин. — Скажите, это — не грех? Но ведь, представьте, митрополит Филарет интересовался спиритизмом, а ведь он был почти святой. Нет, вы, непременно должны посидеть с нами. Вы почувствуете себя другим человеком!

Я успокоил ее насчет греха и спросил, в чем же дело.

II

— Нас целая группа, — пояснила она. — Все свои. Мои

ближайшие родные. Никому из нас нет смысла друг друга обманывать. Я и моя племянница оказались медиумами. Но вы не можете представить, какой силы! Я еще не могу сказать, у кого из нас больше. Но это — поразительно! Это — чудесно! Вообразите, к нам является дух юноши Владека, сына нашего управляющего именем. Я еще помню его, — такой худенький, странный, долгоносик, как-то загадочно утонул в колодце. А Элен его и в глаза не видала...

— Какая Элен?

— Элен — моя племянница. Вот вы увидите. Вы должны ее увидеть. Нет, нет не отговаривайтесь, что вам некогда, — на один вечер забудьте фельетоны... Один вечер, и вы станете другим человеком! Я хочу сделать из вас прозелита, — кажется, так говорится по-русски? Выбирайте сами день. Назначайте место. О, Владек является к нам везде! Нам не надо никаких приспособлений. Хотите завтра у Нащокиных? Мы завтра у них. Ведь вы бываете у Нащокиных? Мы теперь совсем, как гастролеры, — каждый день где-нибудь...

Мне было неудобно. Она предложила другой день, — тоже не устраивалось.

— Ну, хотите, мы приедем к вам? О, нам все равно! Нам не нужно машин, ширм или трюмо. Мы не профессионалы. Нам нужна только темная комната. Правда, Владек иногда бывает не в духе. Явления протекают необыкновенно бурно (она выразилась именно так, — «протекают»). Знаете, на днях в кабинете моего сына сорвалось со стены чучело ястреба и упало с такой силой, что свернуло клюв. Нужна только темная комната, пустые стены и маленькое нагромождение. О, Владеку это не надо, но пока мы люди в земном теле, мы — рабы этого тела.

— Я, кстати, живу около кладбища, — вставил я.

— Ах, это великолепно! — (Она перешла на французский.) — Итак, в пятницу мы у вас. Вы позволите мне взять с собой племянницу и сына? Вы, конечно, можете приглашать кого угодно. Я буду просить только об одном. Нужно, чтобы это были серьезные люди. Неверы портят. Правда, Владек мог бы переубедить Вольтера. Вы знаете, мой сын неверующий, но теперь и он сдается. Да, он еще сопротивляет-

ся, но он сдается. А все-таки лучше без скептиков.

III

К назначенному вечеру я весь проникся настроением. Из маленькой комнатки были предусмотрительно унесены все картины. Владек мог быть в бурном настроении и ударить кого-нибудь углом рамы по голове. Это тем неприятнее, чем неожиданнее.

Из комнаты были убраны ковры, на окнах наглухо спущены шторы.

Генеральша приехала с точностью хронометра. «Аккуратность — вежливость королей», — улыбнулась она на мой комплимент. Она привыкла быть деликатной с людьми и оставалась такой и с духами.

Приехала она, как архиерей «со свитой». Следом за пей выступал серьезный пожилой господин с умными, усталыми глазами, — ее сын. Он точно немножко конфузился за свою мать. Он «неверующий», вспомнил я, и мне стала понятна его манера держаться.

Племянница была худенькая, высокая девушка, вовсе некрасивая, с прической Клео де Мерод. Генеральша, очевидно, стилизовала ее. Что-то болезненное было в ней, дурманное, что вызывало при взгляде на нее странные цветки и ягоды белены, на какие иногда натыкаешься, бродя по лесу.

Белое, бледное лицо оттенялось черными прядями прямых волос, и глубоко были вставлены большие, черные, но точно больные глаза. Она что-то сказала и голос у нее оказался неприятный, с нотками истерии.

Несколько минут мы говорили на соответственные темы — об астралях, флюидах, телепатии, телекинетии. Всеми этими словами моя гостья играла, как мячиком. И вдруг, сама прервав себя, она сказала:

— Ну, а зачем мы будем терять время?

— Конечно! — согласился я. — Жизнь коротка!

Она мило погрозила мне пальцем.



— А вот уж шутки вы должны оставить. Мы собрались не для шуток. Владека это не может обидеть. Но это разрушает наше настроение. Пока мы живем в нашем земном теле, мы рабы этого тела...

Третьим был я, четвертым мой знакомый, который тут же был представлен. Мы уселись за столик друг против друга, как садятся для игры в винт. Я протянул руку к электрической кнопке, и — мгновенно мы очутились в непроницаемой тьме.

Владек не дал нам опомниться. В жизни моей я не встречал более обходительного духа. Генеральша не успела положить руки на столик, как он весь заходил, застучал, стал крениться то в одну, то в другую сторону.

— Видите! — восторженно сказала генеральша. — Владек уже здесь. Милый Владек, ты будешь с нами говорить? Стукни три раза, если ты согласен (Владек отсчитал ровным счетом три удара ножкой). И ты покажешь нам феномены? Покажет. И никому не нужно выйти из цепи? Никому. И ты принесешь нам что-нибудь из мира? Вы знаете, — пояснила она специально для нас, — Владек бросает нам цветы, листки, бумажки, спички во время сеанса. Хотите, чтобы он сейчас что-нибудь принес?

— Пусть принесет цветок, — визгливо выкрикнула барышня.

— Просим цветок, — повторил я.

IV

Мы просидели несколько мгновений. Стол успокоился. Дамы замолчали. Вдруг барышня истерически выкрикнула:

— Огня! Дайте огня! Я слышала, как что-то упало на мою руку.

— Зажгите, зажьте электричество! — возгласила генеральша, теряя самообладание.

Черт возьми, в моей жизни это первый раз дух подносил цветы людям. Все строилось довольно юмористически, но признаюсь, в эту минуту нервность этих дам взвинтила и меня, и я не сразу нашел знакомую кнопку.

На секунду стало больно глазам. На столе, около наших рук, в самом деле лежал маленький, беленький цветочек вроде герани. Он не был свеж. Таким должен быть цветок, пролежавший час в жилетном кармане или за корсажем.

— Вот, вы видите — воскликнула генеральша, и глаза ее загорелись так, что я сразу сказал себе: «Обманывает не она».

— А вы не веровали!

— Помилуйте, — возразил я. — Разве я выражал вам сомнение?

— Нет, не возражайте, — вы были заодно с Атанасом. Вы с ним заодно! Я это чувствовала. Вы — маловер! Но вы уверуете. Владек совершит чудо.

— С благосклонной помощью Элен, — язвительно сказал Атанас.

Я посмотрел на барышню. Она только презрительно повела тонкими губами и не подняла глаз, опущенных на стол.

— В моем доме нет таких цветов, — сказал я. — А в вашем?

— Это из моего будуара, — пояснила генеральша. — У



меня на правом окне... Владек был там в астральном теле.,.

Атанас повертел лепестки в руках и презрительно бросил их на стол.

— Он, верно, принес этот цветок в кармане.

V

Я не мог не улыбнуться и вдруг почувствовал глубокую симпатию к Атанасу. Барышня не поднимала глаз, только тонкие губки ее нервно ходили червячком.

— А можно принести и что-нибудь другое? — спросил я.

— Дух не знает пространства, — гордо отвечала за Владека генеральша. — Если вы не верите, — назовите сами.

— Теперь первый час, — сказал я. — Идет горячая работа в моей редакции. Пусть Владек принесет одну оловянную букву из типографии, — одну букву. Это можно?

— Отчего нельзя! — и генеральша оскорбленное повела плечами.

Свет снова погас. Стол снова заходил, застучал, закланялся. Но мы просидели полчаса, — буквы не было. Барышня перед приездом ко мне не была в типографии. Цветок испортил все мое мистическое настроение, и я рад был, что во тьме не видно моего улыбающегося лица.

Становилось глупо ждать дальше. Генеральша нашла и заявила, что стол хочет говорить. О, она читала в сердце Владека, как в своем собственном! Стол, действительно, начал явственно выстукивать буквы под чтение Атанасом алфавита. Отчетливо отстукалось:

— Изгоните!

— Видите, видите! — заволновалась наша дама. — Кому-то нужно выйти. Кого изгнать, милый Владек?

Стол начал — «Ата...».

— Ну, разумеется, меня! — с прежней язвительностью сказал Атанас. — Еще хорошо, что здесь нет ничего тяжелого.

— Атанас! — умоляюще воскликнула генеральша.

— Замолчал, замолчал! — успокоил ее сын. — А может быть, Владек позволит мне покурить?

VI

Генеральша позволила ему это за Владека. Атанас вышел из цепи и сел в уголке. И в ту же секунду Владек почувствовал себя, как дома. Стол пустился в оживленную беседу, сказал всем по любезности, предсказал всем по несчастью, — словом, стал мил и изобретателен необычайно. Через несколько минут он простил даже и беспокойного Атанаса, позволил ему снова есть, но сказал ему что-то наставительное и угрожающее.

Так мы сидели до двух, до трех, до четырех часов. Мне уже безумно хотелось спать. На то, что Владек пришлет нам с того света что-нибудь поинтереснее мятого цветка, потеряла надежду даже генеральша. Атанас вел себя явно вызывающе и совсем не любезно кивал на Элен.

Около четырех часов стол вдруг начал складывать какое-то слово, начинавшееся возмутительно неприличными звуками.

— Владека начинает перебивать враждебный дух, — пояснила генеральша. — Это — капитан Скрыга. Он — бурбон и нахал. У него чисто казарменные ухватки... Капитан, я запрещаю вам говорить гадости!

Стол опять запрыгал, и теперь для меня уже не оставалось никакого сомнения, что капитан Скрыга хочет отпустить по чьему-то адресу гнуснейшее ругательство из тех, что принято называть извозничьими. Прилив бешеного хохота наполнил мою грудь. Никогда в жизни мне не приходилось подавлять в себе такую сокрушающую потребность смеха. Какое счастье, что мы сидели в непроницаемой тьме!

Чья это была затея? Атанас мстил за три часа одурачивания, или странная барышня находила, что пора кончать сеанс? Одна генеральша принимала это с тоской и верой.

Голосом умирающей Травиаты она говорила:

— Ну что же это такое! Ну ведь Владек сейчас уйдет! Он всегда уходит в таких случаях. Капитан — это наглый и сильный дух...

Скрыге так-таки не дали обругаться до конца. Генеральша резко оборвала сеанс и встала. Она была совсем расстроена. Не случись этого пассажа, она, вероятно, готова была бы сидеть до утра.

И уезжала она расстроенная. Ей казалось, что я уверовал, но не совсем. Я ее не разочаровывал.

— Может быть, вы будете счастливее в другой раз, — посулила она.

— Ах, с удовольствием! — ответил я, мысленно решив, что от второго сеанса я убегу в другое полушарие.

Провожая гостей, я горячо пожал руку Атанасу. Бедный, он был жертвой какой-то глупой семейной истории, которую, может быть, понимал во сто раз яснее меня. Совсем при прощанье я встретился глазами с племянницей. Она точно виновато отвела их в сторону. Мне было тоже неловко, — точно я подсмотрел чужую семейную тайну.

VII

Из провинции приехал профессионал-спирит, которого уже раскричали интервьюеры. В мирке увлекающихся считалось величайшим счастьем достать «на него» билет.

Нужно было сложиться по пяти рублей и с огромными трудностями установить день. На сеанс пригласили известного романиста, известную артистку. Назначили дом, установили час. Всех предупредили:

— Смотрите же, приезжайте минута в минуту: ровно в восемь садимся.

В восемь я уже давил кнопку звонка незнакомого мне дома. Мне сейчас же показали приезжую знаменитость. У нее был вид самоубийцы, обдумывающего род своей смерти.



Медиум держался особняком. Плоский лоб, оловянные глаза, фельдфебельские усы. Дамы подходили к нему и заговаривали с ним с очаровательными улыбками. Он говорил им «да», «нет». Дамы отходили разочарованные, но шептали: «А все-таки в нем что-то есть!..»

— Скажите, — спросил я его, — правда ли, что при вас появляется какое-то живое существо с мохнатой головой, которое трется о колени?

— Да.

— И это давно?

— Да.

— Оно никогда не говорит?

— Нет.

— А сами вы знаете что-нибудь о нем?

— Нет.

— А давно это делается?

— Да!..

Он говорил положительно только «да» и «нет». Если бы он не двигался, не пил чай, не курил, его можно было бы принять за автомат Альберта Великого, самостоятельно игравший в шахматы.

С товарищем мы решили сесть около медиума. Мы разделили поровну его руки и ноги и обязали друг друга к

величайшему контролю. Он не мог двинуть мизинцем без того, чтобы мы не заметили. Наивные люди! Лишив его всякой возможности действовать, мы думали, что перед нами в этот вечер пройдут удивительные чудеса!

VIII

Пробило уже девять часов. Была близка половина десятого. Мы все еще не садились. На нашу беду, хозяин оказался фотографом-любителем и выкладывал перед нами все свои бесконечные альбомы и снаряды.

— Жизнь коротка, не будем терять времени, — робко сказал я.

— Как! — закричал хозяин. — А чай? Вы хотите без чая? Жена так старалась. Оставьте. Вот напьемся и сядем.

В столовой мы поняли, почему мы должны были пить чай. Там был настоящий парад всему серебру, хрусталу и фарфору. Стол был сервирован, как на картинке. Какие салфетки, какие ложечки, какие блюдечки для варенья! Только в одиннадцатом часу мы загасили огни и сели в круг.

На этот раз духи не торопились. Только минут через двадцать медиум вытянул ногу, находившуюся под моим контролем, и стол заколебался.

— Он двигает ногой и освобождает руку! — среди гробового молчания сказал громко мой товарищ. Это был чистейший латинский язык. Почему он говорил на латинском? Вероятно, он хотел, чтобы это звучало торжественно, и вместе боялся, что французский доступен медиуму. Дамы взволнованно зашептали: «Что? что?».

Не могло быть горшей ошибки. Спирит не знал, что значит по-французски *bonjour*, и недурно владел латынью. Он был католик и, кажется, из семинаристов. Весь план наш был погублен.

Медиум понял, что его поставили в условия строжайшего контроля, когда не только невозможно опростать ногу от сапога и водить ею по доверчивым лысым, но даже

трудно раскатать столик.

От этого вечера и этой ночи у меня сохранилось кошмарнейшее впечатление бессмысленно погубленных шестисеми часов. Медиум сидел, как деревянный, как факир, как труп, как мумия, как мешок из человеческой кожи, налитый свинцом. Из нас, восьми или десяти человек, каждый с наслаждением помог бы ему в какой угодно мистификации, если бы он только двинул пальцем! Но он, видимо, дал себе слово наказать нас. И — наказал.

В антракты мы разминали ноги, вытягивали руки. Медиум уныло курил и говорил *да и нет*. В три часа ночи он пересчитал восемь или десять пятирублевок, поданных ему сонным хозяином, сказал: «верно!» — надел довольно потертый елот и уехал.

IX

Если в этих случаях я мог пожалеть о неяркости феноменов, то однажды мне пришлось пережить в этом смысле истинное *embarras de richesses*.

Сюда меня приглашали таинственно и торжественно. Дело должно было происходить у признанного мага, о котором писали в газетах. Мне давали понять, что это — прямо великая честь попасть на такой сеанс, что делается там «черт знает что» и мне «оказывают исключительное доверие».

Мы немножко опоздали и приехали, когда уже все сидели за огромным круглым столом, сажени в полторы в диаметре, в большой комнате, где была искусственно создана такая тьма, какой почти невозможно достигнуть без особенных приспособлений.

В камине вспыхнул крошечный огонек красной электрической лампочки. Во тьме смутно обрисовались силуэты человек двенадцати, сидевших за столом. Огонек сейчас же закрыли и притворили за нами дверь.

— Вы пожалуйста сюда, а вы — сюда!

Нас разъединили. Я попал между двух дам, впервые встре-

чаемых мной здесь, как впервые я видел и все остальное. Ни лиц, ни фигур их я не мог видеть, — только чувствовал полноту их тел и тот возраст, который называется бальзаковским.

Через минуту я понял, что мне оказана честь сидеть рядом с хозяйкой. Она же была и режиссером.

— Медиум — через два человека от вас влево, — сказала она. — Другой медиум — мой муж. У нас уже начинались явления. Вы немножко разбили настроение, но увидите у нас поразительные вещи. Чтобы способствовать духу, начнемте что-нибудь петь. Кто не умеет — не смущайтесь. Подтягивайте, кто как может. Важно, чтобы было слияние голов.

И легким баском она затянула чуть ли не «Среди долины ровные». Точно простуженные или невыспавшиеся, неумелые голоса подхватили мотив. Один офицер пел так, словно медведь наступил ему на ухо.

— Тише! — вдруг сказала хозяйка. — Вы слышите шорох в правом углу? Мне кажется, что наш Льонсо уже здесь. Видите ли, — она любезно повернулась ко мне, — у нас появляется существо, похожее на маленького львенка. Мы ощупываем его шерсть. Оно-то и совершает феномены. Как символ, у нас куплена игрушка, маленький львенок, который пищит, потому что в нем машинка. С этого обыкновенно и начинается.

Она не успела кончить, как из правого угла комнаты в самом деле послышался сдавленный хрип или хрюканье, производимое игрушкой, как будто кто нажимал ее за брюхо. У некоторых прямо вырвалось восклицание испуга.

— Не бойтесь, — успокоила хозяйка. — Льонсо никогда никому не сделал вреда. И не бойтесь никаких явлений. Льонсо к нам благосклонен. Ты к нам благосклонен, Льонсо?

Х

Страшный удар по столу, как если бы кто шлепнул по не-

му ладонью, оборвал ее слова. Это было плохое доказательство благосклонности. Стук шел с той стороны, где сидел прославленный маг. Я не сомневаюсь, что он ушиб себе руку. Через минуту в воздухе над нашими головами слышалось щелканье пальцев большого и среднего, как этим забавляются гимназисты младших классов. По слуховому ощущению, это было опять как раз там, где сидел маг.

— И ваш муж сидит в цепи? — спросил я.

— О, нет, он никогда не садится в цепь.

— А если внезапно оборвать цепь?

— Боже вас сохрани, с медиумами будет глубокий обморок.

— А двери закрыты на ключ?

— Нет, мы дверей не затворяем.

«Ах, вот как обставляется у вас сеанс!» — подумал я, и мне вспомнился Владек и барышня, похожая на белену, и весь тот бессмысленный вечер. Здесь, в большой комнате, были в разных углах две двери на неслышных петлях за мягкими портьерами. Особо ото всех сидел человек вне контроля, — профессионал оккультного дела. Тут не только мог хрипеть игрушечный львенок, но четверо горничных могли сюда принести и унести рояль, укрепить на потолке люстру, вынести из комнаты всю мебель, убить человека, переодеть его и уложить в принесенный гроб.

В этот вечер я видел здесь такие чудеса, что если бы одна сотая доля их могла произойти в научной обстановке, — спиритизм получил бы во мне своего прозелита до могилы.

Небольшая шарманка сама заводилась незримым ключом и играла арию за арией. Два колокольчика звонили одновременно в разных углах кабинета. Часы били столько раз, сколько им назначали. Льонсо рычал и хрипел и оказывался то на наших головах, то на наших коленях.

Я даю голову на отсечение, что по крайней мере две горничные помогали в эту ночь чудес призракам с того света.

XI

Тигровая шкура вдруг поползла с пола и, грязная, пыльная, протащилась по нескольким головам, по дамским прищескам. «Ах! ах!» — в неподдельном ужасе восклицали дамы.

Мне стало очень противно, когда шкура обнаружила поползновение идти на мою голову. К счастью, после антракта я сидел уже с другой дамой, молодой и довольно спокойной. Я попросил ее освободить мне правую руку и, чтобы не разрывать цепь, соединил с ее рукой свою левую руку. Правой я мог свободно описывать круги в окружающей нас тьме.

Почти инстинктивно я взмахнул рукой, отстраняя шкуру, и, — о ужас! — ощутил вполне материализовавшегося духа. Я прошу извинения у читательниц, но то, на что наткнулась моя рука, без всякого сомнения, было не что иное, как молодая, упругая женская грудь. Она приходилась в уровень моей головы.

Мне показалось, что дух едва не проронил восклицание от неожиданности этого слишком земного прикосновения. Во всяком случае, он порывисто и по-прежнему бесшумно, — ибо, разумеется, был без башмаков, — отпрянул и исчез, увлакивая с собой тигровую шкуру.

— Извиняюсь, но я хотел бы выйти из цепи. — сказал я.

— Почему? — обеспокоенно осведомились сразу и маг, и его помощница. — Вы боитесь? Не бойтесь!.. Льонсо не...

— Нет, — сказал я, — я настроен прозаичнее многих. Но я имел неосторожность рассердить духа. А духи мстительны.

Я сыграл роль андерсеновского мальчика. Вероятно, и кой-кто из остальных был уже одного со мной мнения об этом спектакле.

Скоро дали огонь. Все встали. Сеанс кончился. Кажется, даже наиболее верующие чувствовали, что духи сегодня переборщили и что-то напутали.

В прихожей горничная подала мне пальто. Ушки ее горели под начесами густых волос. Ей сегодня пришлось-таки поволноваться! Я сунул ей в руку мелочь и сказал:

— Спасибо, умница!



Она потупила глаза, совсем как Элен!..

Я рассказал, как на духу, эти три случая из моей жизни, к которым можно свести и все сто три. Весь этот рассказ не имел бы ни малейшего смысла, если бы хоть одну строку в нем я сам сочинил.

Я знаю, что таким чистосердечным признанием я подвергаю себя хериму всех жрецов этой возвышенной науки, что двери спиритических салонов, не только тех, где происходило рассказанное, — передо мною закрыты навсегда. Общение мое с веселым царством духов, тискающих живот

мохнатых игрушек, отрезано навеки.

Но теперь я не жалею об этом, ибо с тех пор, как я был на спектакле любезного Льюиса, утекло уже порядочно воды. С тех пор у меня больше книг и больше седых волос в голове, теперь я дорожу ценю свое время. Пусть другие возьмут от жизни свою долю безумия, — с меня довольно. Теперь я знаю, что больше смысла — перечитывать Телемахиаду, изобретать семена для разводки форели, вычислять беспроектную систему рулетки, считать рыбы кости в индюшке и искать шуток в часослове, чем делить с сатаной его досуги...

Ник. Энг

ЧЕРТ ДАНИЛОВА

«Сегодня четверг. Значит, придет он, мой странный гость».

Подходя к дому, Данилов очень волновался. Как отнесется он к его послушанию, к его смелости и своеволию?

Он — это черт, который вот уже четыре месяца, как приходит к Данилову по четвергам. Приходит, садится и ведет длинные беседы.

Он именно такой, каким Данилов рисовал его себе в детстве: черный, лохматый, рогатый, с хвостом и рожками, очень маленький и какой-то прозрачный, туманный. Но совсем не страшный.

В первые дни Данилов его боялся. Одно время он даже подумывал, не сошел ли он, чего доброго, с ума. Одиночество, затворничество и аскетизм могли довести его до сумасшедшего дома. Это говорили многие.

Но через несколько визитов он понял, что это, так сказать, воплотившаяся галлюцинация, почти живой черт, которого окружающие не видят только потому, что не могут допустить факта его существования.

А он, Данилов, допускает и потому видит его, осязает и даже беседует с ним.

Беседы они ведут, главным образом, на отвлеченные темы. Преимущественно о любви и женщинах.

Может быть, потому, что за свою жизнь Данилов ни разу не поцеловал ни одной женщины, ни разу не пожал горячей женской руки и потому, что с чужими он избегал, стыдился говорить о женщинах, может быть, потому он охотно говорил о них со своим гостем.

Смешно было бы стыдиться черта!..

— Ты не видел близко ни одной женщины? — говорил Данилову его лохматый друг. — От души поздравляю тебя. Ты от этого только выиграл. Посуди сам: тебе 27 лет, а ты еще юноша. Разве это не прелесть! Что может дать тебе женщина, самая прекрасная, самая красивая, самая молодая и обаятельная? Свое тело? Но разберемся, что хорошего в этом теле женщины?..

И он пускался в такие описания, в такие подробности, с таким вдохновением рисовал картины объятий, страстных

поцелуев и ласк, что Данилов горел, как в огне — от стыда и желания. Й всю неделю он бродил по городу, как зачарованный, не смея взглянуть на встречаемых женщин, и в то же время подглядывал за каждой из них, мечтая о каждой и... ненавидя каждую.

Он страдал и, в то же время, в этом страдании он находил блаженство, счастье, безмерную радость, рай, который открывался ему.

И он мечтал о четверге, как о моменте свидания с человеком, который откроет наконец перед ним двери рая...

В этот четверг Данилов очень боялся предстоящего свидания.

Он нарушил клятву, данную другу: не подходить близко к женщине. Он подошел.

Это была жена его старого приятеля, Ольга Михайловна. Он знал ее лет восемь и, встречаясь с ней ежедневно за обедом, он, в сущности, не видел ее.

Но недели три назад его черный и лохматый друг, грома женщин, нарисовал портрет Ольга Михайловны, и в его описании образ ее получился до того соблазнительным, манящим и загадочным, что на другой же день Данилов, впервые за 8 лет, увидел за столом рядом с собой молодую, очень красивую женщину с глубокими черными глазами и капризной складкой около губ.

И когда, после обеда, ее муж отправился к себе в кабинет, как он говорил, «вздремнуть», а в действительности, чтобы улечься спать часа на два, Данилов не ушел домой, а начал на полке разбирать знакомые книги.

Ольга Михайловна подошла к нему и, улыбаясь одними глазами и наклоняясь к его лицу, сказала:

— Что это с вами сегодня? Всегда такой серьезный и вдруг какие-то чертики в глазах?

Он очень смутился и покраснел, потер для чего-то лоб и, отворачиваясь, пробормотал:

— Я такой, как всегда... Это вам показалось...

Но она вдруг вынула руки из-за спины и осторожно, двумя указательными пальцами, точно боясь разбить его, взяла за плечи и, почти касаясь своих лицом его усов, она тихо и задумчиво проговорила:

— Нет, вы не такой, как всегда.

Потом вдруг засмеялась, отошла к окну и сказала:

— Смотрите, не влюбитесь в меня. Я вас съем тогда!

Данилов почувствовал ужас, точно он поверил, что эта красивая женщина сейчас съест его. Он отыскал свою шляпу, кое-как, чувствуя стыд, простился с хозяйкой и ушел.

Но всю ночь ему снилась эта женщина. Во сне он звал своего лохматого друга, но он не пришел...

А сегодня произошло нечто ужасное.

После обеда, когда Данилов и хозяйка снова остались одни, он опять не ушел, а вышел на террасу маленького садика и сел в плетеное кресло.

И сейчас же за ним вышла и она.

Она лениво постояла на пороге, потом подошла к Данилову и боком присела на перила. Ее легкое платье обтянуло ее полное здоровое тело, и Данилову вдруг показалось, что она голая. Он отвернулся. Но легкое платье пестрело перед ним, касалось его колен, от него пахло как-то особенно, пряно, от чего кружилась голова...

Покачивая ногой, Ольга Михайловна, улыбаясь, смотрела на него и потом спросила:

— А сегодня у вас есть чертики в глазах? Покажитесь!

Она взяла его за руки, подержала их.

— У меня красивые руки? — спросила она.

— Да, красивые.

— А что надо делать с красивыми руками?

Он не знал хорошо, что надо делать с красивыми руками, но на всякий случай осторожно положил их ей на колени.

Боже мой! как она стала смеяться. Он боялся, что ее легкое платье лопнет по всем швам!

— Их целуют! — наконец выговорила она, поднося свои руки к его губам. — И крепко, и нежно, и страстно. Ну!

И он целовал. А потом он вдруг обнял ее за талию, чувствуя теплоту ее тела через легкое пестрое платье, и привлек к себе.

Кажется, он целовал ее, а она его.

И вдруг он оттолкнул ее, перепрыгнул через перила и выскочил на улицу, шляпу даже не взял.

У ворот он послал дворника за шляпой и почти побегал домой.

К чаю, как всегда в четверг, он спросил два стакана.

Гость никогда не пил у него чая, но Данилов боялся обидеть его и неизменно спрашивал два прибора: для себя и для гостя. Обязывало гостеприимство.

Около девяти часов, как всегда, гость вдруг оказался сидящим против Данилова за столом.

Его маленькая черненькая мордочка была грустна. Очевидно, ему было уже все известно.

Данилов не знал, как приступить к рассказу, но черт пришел ему на помощь.

— Это вышло у тебя очень глупо, — сказал он с печалью. — Но еще не все погибло. Перестань ходить к ним, и все забудется.... Конечно, она изберет себе вместо тебя кого-нибудь другого. Но это ее дело, а не твое.

Данилову было стыдно. И чтобы как-нибудь скрыть смущение, он сказал:

— Можно тебе налить чая? У меня сегодня есть варенье.

— Нет, благодарю. Я пил уже. Но дело не в том. Ты сегодня был на волоске...

— На волоске от чего?

— От того, чтобы стать, как все.

— Разве это так плохо, — быть как и все?

— Дорогой мой, — перебил его друг, — я ведь только оттого и навещаю тебя, что ты не такой, как все. Ты выше, чище, умней, прекрасней других... Конечно, ты можешь, если захочешь, пережить минуту небывалого счастья, счастья, за

которое можно отдать всю прошлую жизнь, пообещать будущую, отдать все и всех... Но ведь это минуты, а потом?..

Черт передернул маленькими лохматыми плечами:

— Фу! какая гадость! Я не понимаю, как это люди могут сходиться с женщинами!

И, не жалея красок, он описал весь ужас и всю грязь падения человека.

Данилову стало противно.

— Если я буду еще раз на волос от этого, — попросил он, — ты приди и спася меня. Ну — удержи, стань между мной и ею. Хорошо? Пожалуйста!

— Хорошо. Я обещаю тебе. Но... ты не пожалеешь?

— Нет, нет! Я прошу тебя!

— Что с тобой делать, — улыбнулся гость. — Ладно, сделаю!

— И что хорошего? — заговорил он вдруг. — Чужая жена, толстая, захватанная руками мужа. Все испытывшая, опытная... Ты знаешь...

И он рассказал Данилову, как она целуется со своим толстым и лысым мужем, как он обнимает ее и тискает, а она тихо хохочет и говорит:

— Дмитрий, мне щекотно... Ах, Дмитрий!..

Данилов ясно представил себе, как красивая, полуобнаженная Ольга Михайловна, которая еще сегодня целовала его, обнимает за шею своего мужа, а тот...

Еще незнакомое ему, страшное, непреодолимое чувство занялось в нем, чувство дикой зависти к мужу, к черту, который видел все, ко всем тем, кто когда-нибудь, быть может, будут обнимать Ольгу Михайловну...

Его маленький лохматый друг, так просто и беззастенчиво раздевавший эту женщину, вдруг стал ему ненавистен.

— Проклятый черт! Как смеет он так говорить о ней!

И, не сознавая, что он делает, Данилов вдруг схватил черта за шиворот и со злобой швырнул его в угол. Он видел, как черт, превратившись в серенькую мышь, вильнул узким хвостом и шмыгнул за печку...

Когда он обернулся к двери, на пороге стояла Ольга Михайловна. Она улыбалась растерянно и смущенно и робко смотрела на него.

— Ну вот, — сказала она тихо, — я пришла...

Данилов обнял ее и посадил на диван. Она шептала:

— Я... я... люблю тебя... я пришла...

Вся комната вертелась перед глазами Данилова, прыгали мутные окна и качался диван, на котором он сидел рядом с Ольгой Михайловной.

Он обнимал ее за талию и дрожащей рукой гладил ее грудь, колени, волосы...

И вдруг кто-то грубо схватил Данилова за плечи и отбросил в угол дивана, и в вертящейся комнате он увидел между собой и Ольгой Михайловной своего лохматого черного друга.

Черт улыбнулся ему, даже, кажется, подмигнул и затем обнял Ольгу Михайловну и своими желтыми, длинными противными губами прижался к ее лицу...

Потом Данилова кто-то больно ударил по лицу, по левой щеке, и при этом он ощутил знакомый пряный запах. Потом он потерял сознание...

Когда он очнулся, в комнате никого не было. На столе, около потухшего самовара, стояло два стакана: один с недопитым чаем, другой — чистый...

Через два года Данилов приехал в знакомый город по делам, дня на два. Он был уже женат и черта больше не видел никогда.

На второй день приезда под вечер он зашел к старому приятелю, у которого когда-то обедал, провести и заплатить давнишний небольшой долг.

Приятель спал после обеда. Данилова встретила нянька. Она рассказала, что барыня умерла больше года назад от родов. А мальчик остался. Но лучше бы не выжил. Нехороший мальчик.

В столовую вышел и сам мальчик.

Ему было уже больше года, но он еле ходил на тонких и кривых ножках. Маленькая, остроконечная голова ребенка, с лицом обезьяны, что-то вдруг напомнила Данилову...

Лицо и руки ребенка были покрыты рыжеватым пухом, уши торчали в стороны, и желтые губы ехидно сжимались в недетскую улыбку.

И Данилову вдруг показалось, что перед ним его старый забытый лохматый друг, являвшийся ему в галлюцинациях, и этот мальчик и весь этот дом стали неприятны ему, отвратительны...

Он вложил в конверт деньги, передал конверт няньке, стараясь ни разу не взглянуть на мальчика, и вышел на улицу.

А через час, переходя площадь, он попал между извозчиком и несущимся прямо на него вагоном трамвая.

На месте вагоновожатого сидел черт, тот, старый друг и, улыбаясь, неся прямо на Данилова...

Вагон смял Данилова, подмял его под себя и завяз тяжелыми колесами в клочьях человеческого мяса. Остановился.

И последнее, что видел Данилов, это была улыбающаяся, кивающая ему знакомая морда, которая звала его за собой...

Н. Александрович

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕРТОМ



В наше время самая захудалая, никчемная профессия — профессия черта.

Кто теперь боится черта? Или кому придет в голову нелепая фантазия продавать ему свою душу?

Человеческая душа совершенно обесценена. Она идет за грош, на который в наше мародерское время не купишь, как известно, даже коробки спичек.

Чем же прикажете существовать честному черту?

Черти, настоящие, хорошие, гоголевские черти, с хвостами и рожками, сходят со сцены. Их заменили мародеры и спекулянты, германские дипломаты и Марков-второй.

Именно портретами этих лиц деревенские бабы пугают нынче капризных детей:

— Ось, бачь, яка така намалевана!

Прошли те времена, когда черт был непременным действующим лицом рождественской ночи, когда в каждой порядочной семье хранилось несколько преданий, связанных с

именем черта, о котором и говорили с уважением и страхом.

А теперь даже гимназисты вспоминают о нем в покровительственном тоне, и выражение «пошел к черту!» употребляется так же часто и с той же простотой, как, например, — «сходи в кинематограф».

Ясное дело, что черт утерять свое значение.

Редакция «Синего журнала», в целях осветить современное положение черта, командировала своего сотрудника в Союз русского народа.

Там, на чердаке, между номерами «Русского знамени» за 1905 г., посудой из-под казенного вина и использованными разрешениями на хранение огнестрельного оружия, нам удалось найти маленького захиревшего чертенка, закутанного в старый пиджак доктора Дубровина.

В живой и интересной беседе черт сообщил нашему сотруднику, как живут и работают современные черти.

Наш собеседник был настроен чрезвычайно пессимистически.

— Праведников нынче нет, а грешники — что может стоять их душа? Лучше торговать кремнями для зажигалок или ханжой, нежели этими душами!

Лет шесть назад я был командирован в одно купеческое семейство — напугать и посорить между собой его членов. И что бы, вы думали, получилось? Ерунда, и больше ничего!

Явился я ночью в спальню хозяев и разбудил их, усевшись в ногах супружеской постели. Хозяйка увидела меня первая и вздохнула:

— Никак черт? Должно, за ужином грибов переела.

Хозяин спросил:

— Тебе чего?

Тогда я сделал мефистофельское лицо, подмигнул и сказал, обращаясь к хозяину:

— Если вы продадите мне свою душу, — завтра же самая красивая девушка Петрограда будет ваша!

Обыкновенно, как рассказывают наши деды, такие заманчивые предложения производили эффект. Теперь — вызва-

ли смех.

Хозяева засмеялись.

— Черт, а дурак! — сказал хозяин, тяжело дыша от смеха. — Да на что она мне, — самая красивая девушка? С чаем ее пить, что ли?!

— Вы будете самым красивым мужчиной в столице! вы помолодеете на 20 лет! — продолжал я соблазнять.

Они опять засмеялись.

— Самым красивым, говоришь, буду? — захлебывался хозяин. — И дурак же ты, брат! Ну что я, из твоей красоты шубу, что ли, сошью?

— Ой, не могу! — хохотала хозяйка, качаясь из стороны в сторону. — Ой, уморил, батюшка! Что твой Глупышкин!..

Я продолжал скороговоркой сыпать обещаниями:

— Я вам дам славу, талант, знание, мудрость...

Они так хохотали, что я прыгал на постели, точно меня трясли в мешке. А когда кончили, хозяин оглядел меня и сказал:

— И жалкий же ты, чертенок, — смотреть тошно.

— Молока, может, ему дать? — задумчиво предложила хозяйка.

Хозяин зевнул.

— Нечего их тут баловать! Нынче молоко — 30 копеек бутылка пополам с водой. Иди, брат, спать охота. В другой раз когда зайдешь!

И погасил электричество.

До зари я проспал в ногах постели на теплом ватном одеяле, а когда на улицах потушили фонари, пришел сюда, да так и сижу здесь... Может быть, вы продадите свою душу? Я не постою за ценой.

— Как-нибудь в другой раз.

— Не хотите? Ну, ваше дело... Нет ли у вас, в таком случае, газетки почитать — надоело это «Знамя» — сил моих нет! Может быть, «Русская воля» есть или «Биржевка»?

Я дал ему «Журнал для Женщин» и вышел, унося с собой грустное убеждение, что настоящий, исконный русский черт вымирает.

Аркадий Бухов

НОЧНОЕ УНИЖЕНИЕ

Бытовой рассказ из жизни чертей



I

Старый черт вздохнул, сплюнул и закурил папироску.

— Страшно чивой-то, — пробормотал он, — смола не кипит, новеньких нет... Спать, что ли? Газеты все прочел...

Молодой чертенок, обсасывавший какого-то цыпленка, отложил пищу в сторону и посмотрел на него.

— Темнеет, папаша... Ночь-то уж наступает. Может, на землю поехали бы. Прикажите — повезу...

— А на земле-то что: лучше? — кисло фыркнул старый черт. — Та же скука... Это бывало раньше, грехов навораживает так, что по горло купаться. А теперь так норовят — сосиски стянуть либо окна выбить. Здесь и мировому-то дела не хватает, не то что нашему брату... Давно уж я там не был...

— А все-таки, пошли бы, папаша... Ночь-то ведь рождественская.

— Да уж не знаю... Разве что воздухом подышать... Дайка сюртучишко — оденусь...

Одевался старый черт недолго и через несколько минут он уже сделал распоряжения по хозяйству, потрепал за ухо сынишку и прыгнул на землю.

II

В детской было темно, и только из-под двери чуть-чуть выбивалась узкая полоска света. Гувернантка помогала маме шить белье, а Саня и Катя спали вместе после двухчасового утомительного обсуждения, кому достанутся с елки игрушки стеклянные и кому картонные. Несмотря на свою молодость, Катя быстро соображала, что преимущество картонных заключается в том, что из каждой лошади можно сделать две, стоит только расклеить посередине, а из стеклянного шара ничего не выйдет, кроме неприятности, когда он упадет на пол — и сладко спала, довольная выгодной сделкой.

Было слышно только ровное дыхание, когда что-то зашуршало в углу и упала на землю коробочка с кнопками.

Первой проснулась Катя.

— Я боюсь... — жалобно пропищала она, толкая Саню, — шумит в углу... Наверное, мышь пришла...

Перешагнув за семилетний возраст, Саня уже перестал бояться мышей и на него плохо подействовала эта угрожающая опасность:

— Спи... Это так...

Шорох скова повторился.

— Саня... Саня... Санечка... я боюсь.. Это, может, жулики...

Саня приоткрыл глаза. В предположении сестры было уже что-то более страшное, чем простая мышь, которая даже кошки боится, а не то что его, уже взрослого, сильного человека...

— Это не они... не жулики, — не совсем доверяя себе, прошептал он на ухо Кати, — кабы жулики, так слышно бы было, как у них кожи брякают. Они с ножами ходят.

— Почему с ножами?.. — с дрожью в голосе спросила Катя. — Я боюсь... Я маму позову.

— А ты закройся одеялом, — посоветовал Саня, с недоверием вглядываясь в темноту. — Я тоже влезу под него...

Шуршание повторилось снова, и одновременно с ним из

угла раздался хриплый, сдерживаемый голос:

— Это я здесь. Черт.

Это было до того неожиданно, что Катя даже не заплакала.

— Чертей нет, — робко возразил Саня с дрожью в голосе, — это, наверное, Мишка из кухни пугает... Я, брат, завтра маме пожалею, а подойдешь к кровати, по морде дам...

— Я не Мишка, — ответил тот же хриплый голос, — я — черт...

— Настоящий?— снова только пискнула Катя.

— Настоящий. У меня и рога есть.

— А они у тебя не подпилены, чтобы не бодался?... А чего я боюсь...

— Ничего не подпилены, — грубо прохрипел черт, — так мотну рогами, что дух вон. Я — страшный...

— А... какой, — трясаясь от непредвиденности обстоятельств, осведомился Саня, — на змею не похож?

— Много хуже, — подумав, ответил черт, — у змеи копыт нет, а у меня есть...

— Надо говорить «копыт», — несмело поправила Катя. — Я сейчас крикну маму и вам дадут по шее... Как вчера одного торговца...

— Крикни только, — пригрозил из темноты черт, — я тебе голову оторву.

Положение было безнадежное. Оставалось или вступать с чертом в переговоры, или бежать. Бежать — черт может догнать и оторвать головы, а что мама сделает с оторванной головой на Рождество? Пришлось прибегнуть к первому.

— А что вам надо?... — робко спросил Саня.

— Да ничего собственно, — уныло ответил черт, — я к вам нечаянно попал... У вас квартира которая — наверное, восьмая?

— Да, восьмая... А дом четырнадцатый.

— Ну, вот, а мне надо в одиннадцатую. Там один банкир живет...

— А ты сейчас уйдешь? — тихо прошептала Катя. — Ушел бы, право... Завтра елка, а ты выспаться... не даешь...

— А где у вас елка-то?.. В гостиной, чай...

— Нет, в столовой. Там места больше. А ты что — посмотреть хочешь?..

— Да уж показали бы старику, — вздохнул черт, — скучно что-то...

— А ты пугать не будешь? — деловито осведомился Саня. — Я не люблю, когда пугают...

— Что я — маленький, что ли, — обиделся черт, — посижу, да пойду дальше.

— Ну, идем.

Четыре детских босых ноги замелькали по холодному паркету. Сзади глуховато постукивали старые помятые копыта.

— Только ты тише, — предупредил Саня, — а то папа услышит — выгонит... Экий ты навязался...

В столовой было темно.

— Как же, — запротестовала Катя, — зажжем свет, а вдруг ты страшный. Я боюсь...

— Ну уж страшный, — улыбнулся в темноте черт, — ты скажешь. Ничего особенного, черт как черт... А хотите, я вам покажу, как я умею делать свет. Махну рукой и светло будет.

Черт взмахнул лапой и в комнате стало светло. Ничего особенного в черте не было: лицо сморщенное, рожки рельефно выделялись на лысине и из-под сюртука беспомощно висел тяжелый, немного мокрый от снега хвост.

— Видал-миндал? — хвастливо произнес он, подмигивая Кате.

— Чего же особенного? — иронически спросил Саня. — Ну-ка, потуши свет...

Черт подул, и в комнате снова стало темно. Саня подошел к кнопке от электричества и сказал:

— Ну-ка, а считай теперь ты до трех раз.

— А зачем?.. Ну, раз...

— Ну, дальше.

— Два... Еще??? Три.

Саня повернул кнопку. Люстра брызнула ослепительным светом.

— Здорово... Ловко ты... — с нескрываемым восхищением прошептал черт. — Как это ты?..

— Да уж так, —самодовольно ухмыльнулся Саня, — а не понимаешь...

Черт сконфуженно засмеялся и поправил хвост.

— А я, брат, вот что умею.

Он сел на стул, раскрыл рот и вдруг в комнате раздался вой ветра, скрип сосен, шум саней и крики сов. Катя порывалась уже заплакать, когда Саня, боязливо оглядываясь на черта, отошел к какому-то ящику в углу и завертел металлическую ручку.

— Что, брат, страшно? — засмеялся черт, боязливо поглядывая на электричество. — Я еще не то умею...

Саня перестал вертеть ручку, что-то зашипело и Катя бросилась запирать плотнее дверь.

Из черного ящика понеслись трубы, барабаны, валторны и четкий марш завертелся в большой комнате.

Черт вскочил со стула и отбежал к окну.

— Это ты как же, — робко спросил он Саню, — животом?..

Саня подмигнул Кате. Положение у черта было самое незавидное. Ни одна из прежних штук не выгорала.

— Фу ты... Лучше бы уж к банкиру пойти, — проворчал он, застегивая сюртук. Но самолюбие не допускало такого позорного ухода и, цепляясь за соломинку, черт завертел круто хвостом и бросил вскользь:

— А я, знаете, как серой умею здорово пахнуть... Многие хвалили...

Катя отскочила от двери и робко жалась к елке.

— А у нас вот портниха вчера йодоформом намазалась, — робко вставила она, — так пахла, что мама обедать не могла...

Пропустив мимо ушей этот ловко унижающий его факт, черт зевнул и сказал:

— А я так вот летать умею. Встану здесь, а прилечу туда. Хотите, покажу...

— Ты елку зацепишь хвостом, — предупредила Катя, — не надо...

— У меня папа летает, — холодно заметил Саня, — третьего дня четыре часа летал...

— Ну уж это ты врешь, — торжествующим тоном произнес черт, — твой папа летать не умеет. Дудочки.

— А вот, посмотри-ка — и Саня ткнул черту пальцем на фотографию, где сам Саня сидел на руках у отца, взлетающего на какой-то страшной машине с крыльями на воздух, — и я тут. Вот, налево, в матроске. Мама не хотела пускать...

Черт потрогал фотографию лапой, удивленно свистнул и вдруг заторопился.

— Ну, пойду уж... Спасибо за компанию...

Катя вспомнила, что при прощании нужно сказать что-нибудь вежливое и, присев, ответила:

— Благодарю вас... Мы уже ели...

Черт неловко мялся в дверях.

— А снова сделать темно ты можешь? — спросил он Саню.

— Могу, — электричество мигнуло и в комнате стало темно.

— У-у-у, — прохрипел черт, — а теперь я вас пугать буду...

— Не смеешь, — твердо заявил Саня, — я электричество зажгу.

— А я шуметь буду, — тупо настаивал черт, — совой кричать.

— А я оркестр пушу...

Черт немного подумал и, не найдя ничего лучшего, прибавил:

— А я вот возьму да пну елку... Всю, брат, переломаю...

— Не смеешь, — всхлипнула Катя, — я маму крикну...

— Не смею? — рявкнул черт. — Не смею?..

В темноте раздался какой-то треск, и елка с шумом и шелестеньем упала на пол. Звякнули стеклянные игрушки, и что-то острое ударило Катю по плечу...

— Ага, чья взяла? — радостно закричал черт. — Ага?..

Взвизгнуло стекло, посыпались осколки и черта не стало...

III

К утру черт вернулся домой. Почти вся семья спала, и только ведьма-тетка обшивала скелет красной тряпочкой в подарок племянничку, у которого только что стал пробиваться хвостик.

— Ну что, — спросила она, не отрываясь от работы, — достал чего?..

— Хорошее дело, — огрызнулся черт, — сама бы попробовала, старая ведьма...

И, ввалившись прямо в одежде в постель, он вдруг поднялся и, убив хвостом клопа, подбиравшегося к нему по стенке, бешено крикнул в сторону крепко дрыхнувшего сына:

— То есть я прямо скажу... Если хотя кто-нибудь будет еще посылать меня на землю, я так дам по морде, так дам по морде, что у меня с ног свалится... Черти...

Аркадий Бухов

ЧЕРТОВА ПРАВДА

Это был самый страдный спор. Встретились они где-то над березовой рощей, совершенно случайно, и не сразу узнали друг друга.

— Ах, это вы, — с деланной улыбкой сказал господин средних лет, вежливо вильнув хвостом. — Я вижу, что фея, а какая, не знаю. Далеко изволите лететь, мадмуазель?

— Так... Туг городишко небольшой...

— Филантропией заниматься? — насмешливо спросил черт. — Как вам не надоело это, Аспазия...

— Что же, по-вашему, — колко бросила Фея, — дома поджигать мне, что ли... Это уж ваше дело, господин Яспер...

— Каждый занимается, чем может. Тем более, что результаты...

— Может быть, вы хотите, чтобы человек, которого вы сунули вчера ногой под трамвай...

— Был мне так же благодарен, как и вам за подсунутую вами жену...

— Извините, я видела слезы благодарности на...

— Пьян был. Или на мозоль наступили.

— Вы воспитывались в конюшне.

— Я жалею, что вы, мадмуазель, не получили и этого воспитания...

— Мне в ту сторону.

— Куда? впрочем, мне как раз в другую...

Черт снял шляпу, немного помолчал и вдруг оказал искренним, теплым тоном:

— Знаете что, Аспазия... Слетаем вместе... Давайте заключим пари на что угодно, что эти ваши идиоты...

— Я понимаю, что вы хотите, сказать. Пожалуйста...

— На что? — черт радостно достал блокнот и приготовил карандаш. — Вы дама; ваше первое слово.

— Я вчера видела розоватое облачко...

— Целиком? Может, в нем четыреста пудов...

— Ну, тогда... Недели две тому назад в этой роще гуляла девушка-блондинка...

— Я вегетарианец, — сухо кинул черт, — что я с ней буду делать...

— Зачем же есть...

— А, вы про другое... Извините, женат.

На чем-то сошлись.

II

Партынин чувствовал, что проедает последние деньги и что достать больше не от кого. И все-таки уходить не хотелось. Он заказал еще бутылку другого вина, сел удобнее в кресло и стал смотреть.

— Ну, подойдите к этому, — услышал он около себя чей-то грубоватый мужской голос, — видите, человеку скверно.

— И пойду, и увидите, что будет...

Партынин обернулся. Кругом него сидели те же посетители, и только против него внезапно выросла красивая женщина с золотистыми волосами и голубыми глазами.

— Вы один? — мягким, нежным голосом спросила она.

Партынин посмотрел внимательно на изящный туалет и белые изящные руки женщины и галантно пододвинул стул.

— Надеюсь, что теперь будем вдвоем, сударыня...

— Вам скучно?

— С вами? С женщиной, у которой такие прелестные ножки? Помилуйте...

— Вы, наверное, женаты?

— Холост, как гвоздь, цыпочка... Пьете?

— Нет.

— Прикажете кофе?

— Н пью. Я хотела вас спросить...

— Весь к вашим услугам...

— Говорите со мной откровенно... Я пришла, чтобы утешить вас...

— О, такая утешительница... Я готов, чтобы вы меня утешали не только весь день, но...

— У вас, наверное, нет денег...

— Милочка! — тревожно и в то же время весело кинул Партынин, — если у вас небольшие аппетиты...

— Может быть, вам нужны деньги?

— Что значит нужны, если подваливается такая расхоро...

— Хотите, я вам дам мечтательную сероглазую невесту...

— Не-ве-сту? — удивленно спросил Партынин. — Я думал, вы сами... — и вдруг, спохватившись, добавил: — так вы вот чем занимаетесь...

— Да. Я делаю людям добро...

— Я понимаю. Это очень, очень мило с вашей стороны... Конечно, известные проценты...

— Мне от вас ничего не надо. Я вам дам денег.

— Сударыня... Партынин, может быть, не богат, но честен. Я не могу жить на средства женщины...

— Я вам хочу создать спокойную жизнь, чтобы ваше горе, чтобы ваши невзгоды...

— Вы купчиха? — искоса поглядывая, спросил Партынин. — Из Москвы или так, из Твери?

— Я фея...

— Фея, — хихикнул Партынин, — а по лицу не похожи... Совсем как институточка... По ресторанам работаете?..

Женщина печально улыбнулась и ушла.

— Ну? — услышал за собой тот же грубоватый голос Партынин. — Поговорила?.. Дай-ка теперь я...

— Послушайте, вы, Партынин...

Партынин поднял голову. Господин в смокинге спокойно теребил перчатку и в упор смотрел на бутылку на столе.

— Дешевенькое льете. Раньше, кажется, другое было...

— Какое у вас лицо знакомое?..

— Еще бы. Помните, в клубе вы мне триста двадцать остались...

— Я так, извиняюсь, — сконфузился Партынин. — К сожалению, у меня сейчас с собой...

— Да мне и не надо. Послушайте, Партынин... Можно с вами говорить совершенно серьезно?

— Пожалуйста... Может, сядете?

— Хорошо, сяду. Деньги есть?

— Нет.

— Будут. Сегодня вечером свободны? Дело одно есть.

— Свободен. Чистое?

— А вы миллионер, что ли? Женаты?

— Нет. И не хочется...

— А если приволокнуться придется... Девочка с приданным в четыре миллиона...

— Ну, уж вы скажете...

— Сахарные заводы Биркииа знаете?

— Знаю.

— Наследница. Сегодня в девять в клубе встретимся...

Вы один здесь?

— Один. Дама какая-то сейчас приставала.

— Кокотка?

— Наверное... Не то сводница... Жену предлагает, денег, говорит, дам... Потом прямо говорит: «Я фея...»

— А вы что?

— Дура она, а не фея... А, может сумасшедшая...

— Ну, прощайте...

Через две секунды Партынин услышал за спиной тот же голос:

— Слышала?

— Слышала... Пойдем к другим...

— До третьего раза.... Пошли.

III

Бледный молодой человек, сжимая виски худыми костлявыми руками, сидел за столом и истерически кричал:

— И это жена?... И это брак... Тебе нужен был идиот с деньгами, а не мягкий, чуткий человек, который творческой работой...

— Да, но я не могу ходить в рыжей накидке... Твоя работа, твоя работа! — визгливо отвечала женщин с птичьим некрасивым лицом. — Плевать я хочу на твои стихи!..

— Виновата... кажется, у вас сдается комната? — слегка приоткрыв дверь, спросила какая-то дама. — Дверь открыта, я и вошла без звонка...

— У нас третьего дня тоже без звонка вошли, — крикнула женщина, — а потом зонтик пропал, с перламутровой ручкой...

— Ну, что вам нужно? У нас сдается комната, — сухо произнес бледный молодой человек.

Дама ласково посмотрела на молодого человека.

— Вам нужен отдых. Вы так измучены...

— Без вас знаю...

— У него есть жена, которая...

— Вы, кажется, насчет комнаты?

— Это только предлог. Я хожу по домам бедных людей и раздаю им...

— Вы не туда попали, — раздраженно крикнул молодой человек, — мне не нужно ваших двух рублей и старого пиджака...

— Я приношу людям счастье, — нежно сказала дама, — я хочу поцелуем освежить твое усталое сердце...

— Что? При жене, — взвизгнула женщина, — ага, негодяй... Это одна из твоих модисток... Нашла богатого содержателя, а теперь лезет к старому любовнику...

— Вы ошибаетесь... Я могу вам дать богатую квартиру, деньги...

— Ну, что же, иди, иди, — хрипло крикнула женщина, — бросай меня... Эта богатая, иди, мерзавец...

Она упала на стул и забилась в истерике.

— Это, может, быть, ты хочешь уйти на содержание, — со спазмами в горле крикнул молодой человек, — ты давно уже...

Он хотел шагнуть вперед, но схватился за грудь и зарыдал.

— Вы не поняли меня...

— Она еще здесь? — приоткрывая глаз, спросила жена.

— А, вы еще здесь, — бешено заревел молодой человек.
— Пойдите к черту. Я дворников крикну.... Нахалка, врываться в семью, будоражить покой!..

IV

— Попробуй третий раз... Только потом уж не отнекивайся... Проиграла, так проиграла!..

— Хорошо, — уныло ответила фея, — видишь, вот там бедный рабочий сидит за бутылкой разбавленного спирта...

— Вылакает и сдохнет, — хладнокровно сказал черт, — пойдй к нему...

Слесарь Швыркин вежливо встал и поклонился.

— По слесарному делу, барыня... С измальства этим промышляем...

— Ты что, с горя?

— Горе, не горе, а уж ежели под праздник не выпить...

— А знаешь ты, что это яд?.. — ласково спросила фея.

— Я-а-д? — недоверчиво протянул Швыркин. — А ежели я за него восемь гривен...

— Не пей. Отравишься...

— Да как же это... Вон и Митька с огурцом бежит. Опять же хлеб припасен...

Фея наклонилась, взяла бутылку, и ядовитая пахучая жидкость блестящей лужицей легла на полу. Швыркин всплеснул руками, глотнул воздух и в ужасе выпучил глаза. Видно было, что он хотел сказать что-то большое и укоряющее, но оно завязло в корявом горле и только камнем вылетело:

— Ну и стерва...

— Я тебя спасла... — со слезами на глазах шепнула фея.

— Митька! — не своим голосом крикнул Швыркин, — бери болт, кошкин сын, обходи ее сзади...

— Ты чего бесишься? — со смехом спросил какой-то господин, удерживая Швыркина у дверей, в которые он бро-

сился, чтобы догнать фею. — Ты что, с цепи сорвался...

— Я ей покажу, рвани... Я ей бока-то выбелю... Бутылку разбила... Я почитаю что три дня выклянчивал...

— А ты другую купи...

— Что, у меня мелочная лавка, что ли, — рубли-то швырять...

Господин усмехнулся и протянул Швыркину трешницу. Швыркин робко схватил ее грязной потной рукой и даже подбросил на ладони.

— Это, барин, — с нескрываемым восхищением произнес он, — барин, так барин... В котелке, а рабочего человека понимает... А то пришла... Думает, если шляпку одела, так и над бедным человеком издеваться может... Шлюха мокрохвостая...

V

— Да ты не плачь, — ободряюще похлопал черт по феиному плечу, — проиграла пари и ничего... Молода еще, глупа...

— И все они так, — всхлипывая, бросила фея, — третьего дня одному две тысячи подкинула, а он меня у крыльца накрыл... Камнем хотел пустить... Какой-то дурак, говорит, деньги оставил, а ты вынюхала и подбираешься...

— Ну, а ты что?

— Заплакала и убежала...

— Дура. А сама ругаешься, что я одному ногу под трамвай подсунул... Прямо свиньей визжал. Черненький такой, в панаме...

— Постой, постой... А на щеке родинка... и пиджак у него синий?

— Да...

— Этот самый, мой и есть... Ты что ему, одну ногу только...

— Одну...

— Жалко... Может, мимо будешь проходить, сунь и другую... Другую под лошадь можно.

— Ладно уж... Напомни только... Благотворительница...

Аркадий Бухов

О НЕЧИСТОЙ СИЛЕ

Святочный набросок

В нашей литературе последнего дня наметилось страшное тяготение к черту. Сама ли она подошла к нему, читатель ли ее послал — дело другое, только около всякой нечисти вертится целая беллетристическая и поэтическая каша. Обладая самым скептическим умом, все же приходится согласиться, что нет дыма без огня, и если заговорили о черте целыми страницами и томами — значит, черт есть. Может быть, он, как экс-король португальский — пребывает в постоянном инкогнито — это его личное дело — только с фактом его существования считаться приходится...

Главная страда у нечистой силы — святки, до шестого января; в это время у каждого черта, начиная от мелкой канцелярской сошки и до старого беса с генеральским чином — хлопот по горло. Порча христианских душ принимается поштучно, сдельно и поденно — причем в принятии подрядов немалую роль играют и особые черти-интенданты, которых еще не обревизовали.

Для того, чтобы познакомить читателя с той нечистой публикой, с которой мы имели дело на святках, я порывлся в нескольких томах наших современников-беллетристов и поэтов и познакомился с самой разнообразной нечистью, работающей на территории европейской и азиатской России, не исключая и городов с усиленной охраной...

Вот несколько видов русского черта.

* * *

В отдаленных от больших городов селах и деревнях, особенно, где много леса, вся администрация нечисти находится в монопольном пользовании у лешего. Это невоспитанное, грубое существо, всегда грязное, голодное, зубоскальствующее и которое, несмотря на свой страшный рост и силу, ничего не может сделать опасного русскому человеку, кроме мелкой пакости — завести его в овраг, спихнуть в канаву или просто заорать из-за дерева и испугать до холодного пота... Авторитета у лешего нет. В сказках он



Львиий.

— глуп, неповоротлив — вообще, все функции простого лесного слегка сходны с ролью «истинно-русских» организаций в нашей политической жизни — он делает глупости, запутывает, и с ним никто не считается...

* * *

Хуже — домовой. Он бывает и в городах. В деревнях заплетает гривы лошадям; в городах, наверное, пробовал делать то же самое с автомобилями или с трамваями, но вряд

ли у него что-нибудь вышло... Курит и пьет и очень любит обнимать сонных женщин, особенно кухарок — по крайней мере, от представительниц высшего света не было слышно жалоб на синяки от домового... Домовой часто бывает добр — предупреждает несчастья: для того, чтобы не украли золотые часы, предусмотрительно бросает их в помойное ведро; во избежание пожара заранее выливает на пол приготовленный к утру самовар.

Походит в этом отношении на русских критиков, которые прибегают к однотипным способам: для того, чтобы похвалить писателя А., ругают ослика Б...

* * *

Русское привидение страшно отличается от западноевропейского. У него особый колорит. Там оно всегда легко, воздушно, является в прозрачном голубом сиянии, в руках какой-нибудь цветок и говорит оно что-нибудь очень легкое и изящное:

— Возьми цветок с моей могилы.

— Ах, мне тяжело. Не изменяй мне...

У нас привидение всегда приходит в образе недавно умершей тещи или тестя, в пиджаке, полусгнившее, со скверным запахом, начинает сводить семейные счета до материальных («от-д-а-а-а-й Ма-а-а-р-ь-е ее кру-у-у-уже-вно-ой пла-а-а-ток!...») включительно. Наше привидение не мелькает, а, явившись несчастному человеку, засиживается у него до утра, пока его насильно не вытолкнет утренний свет и шум за стеной. И входит оно не через замочную скважину, а вдоволь настучавшись в окно, поцарапавшись в дверь и пошуршав за обоями — чуть ли не подав предварительно визитную карточку: привидение, мол, такое-то, прикажете ли принять...

* * *

Ведьмы — преимущественно сельские жительницы. С легкой руки Ф. Сологуба они мало-помалу переселяются в город, но скоро ли они здесь ассимилируются, сказать труд-



Ведьма.

но. В нашем обиходе они заменяют западноевропейских русалок, сильфид, наяд. Они врываются в дом, зачаровывают первого попавшегося мужчину и начинают нить кровь. Это их профессия и любимое дело. Увидав ведьму, мужчина, конечно, сейчас же тает. Ведьма отдается ему со скоростью хорошего курьерского поезда. После этого мужчина начинает худеть, бледнеть и чувствовать головокружение... Ведьма, за это время, усиленно питается кровью мужчины, превращенного в своего рода «Гематоген». Освободившись от цепких чар красавицы, мужчина всех женщин объединяет с этого момента в однотипное существо и к жене, если только он женат, обращается не иначе, как:

— Послушай, ты, ведьма...

* * *

Упырь, вурдалак то же, проскальзывает в большие города и тоже, большей частью, под видом женщины, хотя ампула потребителя человеческой крови твердо занято ведьмой. Упырь живет на кладбище, ходит полуголый, в потрепанном саване, щелкает зубами и, большей частью, разбирается только провинциальными фельетонистами (и то самыми захудалыми) для рождественских рассказов. Успеха не имеет. На хорошую работу — не годится.

* * *

Наконец, заключительным номером современной русской нечистой силы является особый юмористический черт, работающий сдельно на святках с фельетонистами, юмористами и газетными весельчаками... Когда-то, в руках Гоголя, он был остроумным, едким малым. Теперь, в руках современников, он поглупел, остроты его отзываются вокзальным раскрашенным юмором. За черта страшно... В фельетонах он проводит социал-демократическую программу, — в юмористических рассказах высказывает мысли, за которые стыдно даже отдаленной родне автора. В стихах говорит скверной прозой.

* * *

Может быть, еще какие-нибудь есть черти?

Николай Архипов

СТАТУЙ

Невероятная история



I

Был жаркий июль.

Каменные дома и тротуары накалились до последней степени. От духоты трудно было дышать.

Памятник стоял на открытой площади, среди чахлого сквера, ничем не защищенного от горячих лучей солнца, сосредоточившихся на широкой шляпе Статуя.

Равнодушно взирал Статуй на людей, суетившихся вокруг него. Он давно уже — лет двести — наблюдает эту бесконечную суету, и порядком она уже надоела. А потопу и стоять было довольно скучно.

Памятуя, однако, свое назначение украшать город, он мирился со всеми неудобствами двухсотлетнего стояния на пьедестале.

Зной увеличивался.

В полдень, когда жестокие лучи солнца отвесно падали на бронзовую шляпу и накалили ее докрасна, когда асфальт мостовых размяк, а собаки лежали с высунутыми языками, — Статуй недовольно наморщил нос и, с нескрываемой злостью посмотрев вверх, промышчал какое-то ругательство.

Солнце, однако, не смутилось этим и продолжало накалять лежащий под ним мир.

Долго еще терпел Статуй и, наконец, после двухсотлетнего спокойного стояния, решил переменить ногу и поправить шляпу, которую скульптор, неизвестно для чего, нахлобучил на самый лоб.

От этого раздался треск.

А дети и няньки, игравшие тут же у памятника, с удивлением заметили, что шляпа Статуя легкомысленно сидит

на самой макушке, а вместо левой ноги — вперед выставлена правая.

Подивились, неодобрительно покачали головами и продолжали свои игры и занятия.

Тем временем солнце продолжало посылать на землю огненные лучи, от которых трескалась земля, высыхали ручьи.

Статуй опять переменял ногу и, сняв шляпу, бросил ее на пьедестал и с досадой плюнул.

Тогда дети и няньки еще с большим недоумением увидели совершенно голый, лоснящийся от солнца череп Статуя.

И опять подивились и покачали головами.

Однако, и это не помогло Статую... Во рту пересохло, а в голову то и дело лезли разные воспоминания о крепкой, холодной браге, которую он пивал лет триста тому назад.

— Гм... Хорошо бы, черт возьми, выпить чего-либо этакого, прохладительного... — пробурчал он недовольно.

Но как же это возможно, ежели он Статуй, долженствующий безотлучно находиться на памятнике! Однако, фантазия продолжала работать все в том же направлении. Вспоминались медные ковши с пенящимся медом, пудовые кубки холодного пива... Или даже просто холодная, искрящаяся ключевая вода.

И, наконец, нестерпимо захотелось слезть с пьедестала и хоть на минутку зайти в первое же питейное заведение.

Эта мысль сверлила бронзовый череп и ни на минуту не давала покоя.

И вот, махнув рукой на все этикетки, кряхтя и громыхая металлическим телом, надел Статуй шляпу и слез с пьедестала.

Тогда дети и няньки совсем дались диву: как же это — Статуй, — и вдруг сошел на землю, оправляет широкие штаны, сморкается и, кажется, собирается идти в город, как настоящий человек.

К детям и нянькам присоединились прохожие. Поднялся шум удивления и протеста.

А через минуту к собравшейся толпе грозно подходил городской.

— В чем дело, разойдись! — кричал он еще издали на всякий случай.

— Да вот господин Статуй сошли с памятника! — заявили собравшиеся.

— Сошел? Как же это вы, господин? — строго обратился городской к Статую.

— Как? — да вот взял и сошел... — спокойно, зычным металлическим голосом ответил тот, застегивая на туфле пряжку.

— Да как же... без разрешения начальства? Ведь вашему брату, по положению, надобно быть на памятнике.

— Помилуй, братец, — взмолился Статуй, — сорок пять градусов по Реомюру, ведь это же прямо геенна огненная... Попробуй-ка выстоять, — выстоять, к тому же, двести лет.

— Оно, точно, — затруднительно, а все-таки непорядок.

На лице городского мелькнула вдруг новая мысль:

— А потом опять-таки, в рассуждении вида на жительство...

— Но ведь я же из семнадцатого века!.. — громыхал Статуй.

— Это нас не касается... А лучше всего вам в участок пожаловать, господин медный. Там уж все разберут в лучшем виде-с.

Нечего было делать: вместо питейного заведения пришлось отправиться в участок.

II

Франтоватый пристав с закрученными усиками встретил Статую очень сухо и официально.

— Ваше звание, возраст, профессия?

Ответить на эти вопросы оказалось делом весьма трудным, и сам пристав долго тер лоб, и, в конце концов, должен был сознаться, что положение этакое, совсем исклю-

чительное...

— Вам необходимо приписаться к сословию и взять вид на жительство...

— Помилуй Бог. Мне ведь только прохладительного выпить... А потом я опять вернусь к памятнику.

— Это ровно ничего не значит: всякий гражданин, ступивший на твердь нашего государства, должен иметь паспорт... Паспорт — это душа человека! Вот, извольте подписать это заявление.

Пристав продвинул к нему бумагу, отметил ногтем — где именно следует подписать.

— Вы уж извините, я только по церковно-славянскому умею.

— Это не совсем удобно, но на первый раз пусть уж будет так... Вот вам временный вид на жительство. Потрудитесь предъявить его дворнику для прописки.

— Да что БЫ, господин пристав, — мне квартиры совсем не требуется...

— Это уж, простите, меня не касается... Мой долг — предупредить. Честь имею кланяться...

Пристав церемонно поклонился, давая понять, что аудиенция окончена.

III

Выйдя из участка, Статуй поспешил зайти в первый же трактир.

— Пивка бы мне... — прогремел он толстому, бородатому целовальнику в засаленном жилете.

— Вам бокал или кружечку?

— Чего-нибудь покрупнее.

— Стало быть, большую кружку?

Когда Статую подали бутылочную кружку, он посмотрел на нее с превеликим удивлением:

— Этакий-то наперсток!

— Помилуйте, самая большая, в двугривенный идет у нас.

И целовальник беспомощно развел руками.

— Тогда уж разве ведерко? — нерешительно предложил он.

— Это дело веселей — давай ведерко!

— Никита, нацеди-ка господину ведерочко пива! — распорядился целовальник.

Кряхтя и перегибаясь, половой принес ведро аппетитно пахнущего пива.

— Славно! — изрек Статуй, в несколько глотков осушив ведро.

— Давай-ка, борода, второе.

После второй порции зашумело в бронзовой голове и захотелось третьего ведра.

— Давно, брат, не пивал этакой благодати, почитай, лет триста!

— Что и говорить, ваше дело табак: ни тебе выпить, ни тебе закусить, знай — стой да помалкивай.

— Да, брат, — глубоко вздохнул Статуй, — украшать город — дело тяжелое... Ну-ка, нацеди, паренек, еще посудинку...

— Четвертое-с?..

— Кажется... Не люблю считать.

Целовальник нерешительно топтался на месте:

— Оно точно-с... А только позвольте получить сперва за выпитое-с...

— Что получить? Не понимаю..,

— Деньги-с, пятнадцать целковых за три ведра-с.

От такого неожиданного оборота Статуй опешил и в раздумье наморщил чело.

— Как же быть? Денег у меня нет. Совсем забыл, что теперь деньги эти самые пошли...

— Ежели денег нет, не надо было и угощения требовать. Которые господа благородные этак не поступают с... Никита, кликни-ка с поста городского — в участок требуется свести господина памятника...

— Опять в участок? Я ведь только что оттуда... — тоскливо громыхнул статуй.

— Вот как-с?

Целовальник призадумался. Потом стал глядеть на камзол Статуя и что-то смекать.

— А знаете что-с? — заметил он, наконец. — Вместо денег сорвите-ка у себя с кафтанчика пуговочку одну — в ней, поди, фунтиков пяток бронзы набежит... Вот и разочтемся по душам...

— Как же мне без пуговицы — это ведь неряшливость!..

— Пустяки-с: всегда всякий человек может одну пуговку потерять.

— Ты думаешь, борода?!

— Очень даже просто-с.

Немного это, конечно, странно: были все пуговицы, и вдруг одной не стало?... Да ведь нечего делать — надо расплачиваться. Не может же он, Статуй, остаться в мошенниках.

— Ну уж, ладно, получай.

Статуй оторвал от камзола верхнюю пуговицу и вручил целовальнику.

Тот любезно расшаркался.

— А между прочим, ежели желаете, — за вторую пуговочку можем еще три ведерочка нацедить?

— Нет, борода, это невозможно!.. Ну, без одной куда еще ни шло. А украшать город без двух пуговиц — это уж одна срамота!..

— Напрасно так изволите думать... Ну, действительно, стоит, скажем, памятник... Но кому же, скажите на милость, придет охота в пуговицы всматриваться!.. Серьезный который человек никогда не станет на такие пустяки внимание обращать... Поверьте-с!

Статуй призадумался. И выпить большая охота и пуговицы жаль.

— А, пожалуй, ты прав — пуговица штука мелкая; ее и заметить-то трудно... Да, кстати, уж одной нет. Получай-ка, борода, и вторую.

Статуй оторвал вторую пуговицу и швырнул ее на стойку.

— Благодарим покорно-с.... Никита, нацеди-ка, паря!

— А мошеник ты, борода: в пуговицах-то фунтов по пятнадцати верных будет?!

— И што за счеты, господин... Человек вы, можно сказать, одинокий, а у меня детишки. Двое в гимназиях обучаются... хе... хо... — денег много требуется....

— Ну, уж ладно, скули...

Три новых порции еще больше разожгли хмельную жажду. Захотелось уже Статую выпить чего-нибудь покрепче.

— Послушай, борода, а нет ли у тебя каких других напитков — посерьезнее чтобы?

— Как не быть! При вашей комплектности первеющее дело — водка... А пить ее вам надобно штофами, чтобы, значит, в пропорцию...

— Ну, так давай водки!..

— Хе-хе... шутник-с... А как же насчет монеты?

— Ах ты пропасть — все забываю ваши порядки!.. Тек-с... Монеты, брат, в наличности не имеется...

— Плохо-с, плохо-с... Придется, видно, без водочки... А, между прочим, средство имеется: пуговичка одна на кафтане у вас осталась... Зряшная она совсем — только, можно сказать, беспорядок один делает... Ежели угодно — три штофика за нее отмерим...

— На этот раз ты, пожалуй, прав: одной пуговице торчать совсем уж не к чему. Получай!

Водка еще больше пришлась по вкусу. Этакой благодати еще не приходилось пивать.

— Славно, борода, это придумано!

Большими глотками пил Статуй водку и закусывал всякой снедью, расставленной у стойки.

После первого же штофа он съел всю закуску. Целовальник смотрел и раздумно качал головой:

— Обмахнулся я малость — совсем не рассчитал аппетита вашего... Ну, уж ничего-с — моя ошибочка.

— Не скули, борода, больше пуда бронзы получил!.. Давай-ка еще закуски.

— Можно-с. Никита, подай-ка там за перегородочкой два хлеба, да насыпь мисочку соли!..

Половой принес дна увесистых ржанных хлеба в глиняную миску соли.

— Вы уж извините-с, ха... ха... — деликатес не припасли.

— Ладно, скаред ты этакий!.. А знаешь, брат, ваша водка похмельнее нашей браги... В голове у меня этакое делается, развеселое...

— Водку мы, господин, держим правильную — водой не разбавляем.

— А не можешь ли ты, борода, музыку мне предоставить? Страсть люблю, ежели музыка играет!

Целовальник на минуту призадумался.

— Оно, конечно, можно для хорошего гостя постараться, только для этого надобно в кабинетики перейти — там фортепьяно имеется, а за музыкантом пошлем.

— Вот за это, брат, молодчина!.. Люблю широту натуры!..

— Что и говорить: оно приятно, ежели при широте натуры... Только за кабинетик и музыку вам придется пряжки от туфельек оторвать.

— Ах ты, дьявол!.. Да как же я без пряжек останусь город украшать!.. Ни пуговиц, ни пряжек... Это уж не памятник, а какой-то золоторотец.

— Подумаешь — большое украшение пряжка!.. Да кто и смотрит-то на ноги! Завсегда лицо обозревают, фигуру, а пряжек этих самых — хоть бы и совсем не было...

— Ну, черт с тобой, пожалуй, можно и без пряжек. Согласен — распорядись! Получай пряжки.

— Зачем же вперед, не требуется — порядочным господам завсегда верим... Только вот что-с — скучно вам будет в кабинете без вина-с... А вы уж изволите третий штоф окончательно допивать... Опять же в рассуждении компании: ежели господа берут кабинет, го обязательно с дамой-с...

— С дамой, говоришь?

— Даже непременно — дама или мамзель которая...

На бронзовом лице Статуя заиграла улыбка.

— А ведь это любопытно, черт возьми! Никогда, брат, не бывал еще в этаких переплетах... Ну что же, я согласен — вполне, можно сказать, согласен!..

— Опять же для мамзели потребно угощение: балычку там, ликерцу и прочей фрукты.

— Ну, натурально, борода — как же без угощения!

— Хе... хе... правильно рассуждаете-с... Ну вот-с: вы вам дадите вашу шляпенку, а мы вам мигом представим все удовольствие в наилучшем виде-с...

— Шляпу?.. Ах ты, чудака бородатый — да как же я без шляпы? Памятник — можно сказать, монумент, и вдруг без шляпы!.. К тому же, братец, я совершенно лыс: в мое время никаких еще средств для волосорращения не было...

— Все это, извините-с, пустяки нестоющие... О прошлом годе я был в Москве и видел этакий огромнейший памятник, а на нем мужчина, — видный такой из себя. А, однако же, лысый. И ничего-с... Человек вы не молодой. Даже почета больше, ежели лысый.

Статуй серьезно призадумался: насколько, собственно, важна для памятника шляпа? В стародревние времена вообще ведь ходили без шляп... Подумал-подумал, да и махнул рукой.

— Ну, дьявол бородатый, соблазнитель — получай!..

Стащил с головы шляпу и швырнул на стойку, от чего задребезжала и заплясала вся посуда.

— Хе... хе... полегче, господин — шляпенка-то у вас того... не соломенная.

IV

Пиршество было в полном разгаре.

Худенький веснушчатый тапер играл веселые песни, приглашенная разбурянная мамзель плясала до упаду.

Статуй, довольный всем окружающим, стоял, широко расставив бронзовые ноги, и с полной приятностью тянул

из медной кастрюльки красное вино, которое пришлось по вкусу.

Вообще, он находил, что по части питий родина далеко шагнула, и весьма сожалел, что в его время все было столь скудно.

— Ну, что это за питье, — жаловался он мамзели, — брага да мед, мед да брага — вот и все... А теперь поди ты: водки, вина, ликеры там разные.

— Миленький Статуйчик, выпьем шампанского... Отменный это напиток, и вообще все благородные господа пьют.

— Ну что же — выпьем, мамзель моя распрекрасная... Эй, борода!

V

Поздно ночью жители города были встревожены неким шумом.

Где-то рушились заборы, где-то трещали ломаемые деревья, громыхали железные крыши.

И кто-то громовым, металлическим голосом распевал неведомые песни...

Это возвращался восвояси выпровоженный целовальником, не в меру разгулявшийся Статуй.

Идет он и горланит песни и приплясывает.

И гудит земля от его пляса, ломаются каменные плиты, глубоко уходя в землю.

Ежели забор на пути попадался — валил на него кутила.

И трещали ломаемые доски, гнулись железные изгороди.

Ежели дерево на пути — вырывал его с корнем и швырял далеко-далеко, угождая иногда на чью-либо крышу.

И ломалась крыша, громыхая.

Дивились сонные жители: что за оказия — уж не землетрясение ли?

И было большое смятение...

А наутро обеспокоенные власти прибыли и направились по следам разрушения — отыскивать загадочного разрушителя.

Долго шли власти и пришли к чахлому скверу на городской площади.

Но у самого памятника след совсем потерялся.

И остановились власти в нерешительности. Остановились и взглянули на памятник...

А взглянув, обомлели: поперек пьедестала лежал Статуй, положив лысую голову на медную кастрюлю. Одна нога свисала с пьедестала, другая подвернута к животу...

Ни камзола, ни иного платья на нем не было.

И лежал в полном неглиже, при единой лишь туфле.

И спешно собирались градоправители обсуждать вопрос: как быть с непристойным памятником?..

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

Мирэ. Два гнома

Публикуется по авт. сб. *Жизнь* (Н. Новгород, 1904).

Мирэ, также А. Мирэ — псевд. А. М. Моисеевой (1874-1913), писательницы, переводчицы, женщины трагической судьбы. Бросила Борисоглебскую гимназию, чтобы поступить на сцену, в 1893 г. была арестована за революц. деятельность, в 1894-97 гг. жила под надзором полиции, затем скиталась по Европе (Франция, Италия, Бельгия, Швейцария), работала натурщицей, была продана любовником в публичный дом. По возвращении в Россию в 1902 г. жила в Н. Новгороде, с 1905 в Петербурге и Москве, печаталась в модернистской периодике, выпустила сб. *Жизнь* (1904) и *Черная пантера* (1909), много переводила с французского. В конце жизни страдала душевным расстройством, умерла в одиночестве в московской больнице.

Мирэ. В безлунную ночь

Публикуется по авт. сб. *Жизнь* (Н. Новгород, 1904).

Мирэ. Черная пантера

Публикуется по авт. сб. *Черная пантера* (М., 1909).

Мирэ. Проповедник смерти

Публикуется по авт. сб. *Черная пантера* (М., 1909).

Мирэ. Рамбеллино

Публикуется по авт. сб. *Черная пантера* (М., 1909).

К. Льдов. Ретроскоп

Впервые: *Огонек*. 1908. № 41.

К. Льдов — псевд. В.-К. Н. Розенблюма (1862-1937), поэта пред-символистского толка, переводчика, прозаика, журналиста. Сын врача, высшему образованию предпочел занятия литературой. Печататься начал с 1870 г., сперва как детский поэт. С 1915 г. постоянно жил за границей, скончался в Брюсселе. Автор поэтич. и про-заич. книг на русском и франц. языках, известен переводами из В. Буша.

Л. Татищев. Башня Сильвио

Впервые: *Огонек*. 1908. № 52.

Л. Л. Татищев (1868-1916) — сын генерала из знаменитого ро-да Татищевых, известный ювелир-любитель, поэт, прозаик, про-фессионально литературой не занимался. Будучи уполномоченным Красного Креста, погиб во время Первой Мировой войны при тор-педировании госпитального судна «Португаль» германской под-

водной лодкой.

В. Гордин. Страх

Впервые: *Огонек*. 1909. № 34.

В. Н. Гордин (1882-1928?) — писатель, журналист родом из бедной мещанской семьи. Публиковаться начал в нач. 1900-х гг., будучи земским чиновником; печатался во многих периодических изданиях, выпустил несколько сб. рассказов. В 1910-х гг. редактировал журнал *Вершины*.

В. Гордин. Грустная свадьба

Впервые: *Нива*. 1912. № 24.

В. Гордин. Двое

Впервые: *Нива*. 1911. № 41.

Н. Д.-Энш. Мухи

Впервые: *Всемирная панорама*. 1910. № 52.

Б. Садовской. Муха

Впервые: *Огонек*. 1912. № 33, 12 (25) августа.

Б. А. Садовской (наст. фам. Садовский, 1881-1952) — прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист-мистификатор. Сын нижегородского инспектора Удельной конторы. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Пуб-

ликовался в ведущих символистских журналах, занимая при этом консервативно-монархические позиции. Страдал сухоткой спинного мозга вследствие перенесенного в молодости сифилиса и лечения препаратами ртути, с 1916 г. был частично парализован. С конца 1920-х гг. жил в квартире, расположенной в одной из келий Новодевичьего монастыря. Автор романов, многочисленных сб. стихов, новелл, критич. статей, малопривлекательная личность и весьма одаренный писатель, не чуждый фантастике.

Д. Цензор. Самоубийство

Впервые: *Огонек*. 1909. № 33.

Д. М. Цензор (1877-1947) — поэт, прозаик. Сын портного. В 1900-х гг. учился в петербургской Академии художеств и на филологический факультет Петербургского университета. Входил в многочисленные художественные объединения, тяготел к символизму. Автор сб. стихов *Старое гетто* (1907), *Крылья Икара* (1908), *Легенда будней* (1913) и др. В 1910-х гг. издавал журнал *Златоцвет*, редактировал *Альманахи стихов, выходящие в Петрограде*. В советские времена публиковал в основном детские, сатирические и агитационные стихи.

Д. Цензор. Счастливая веревка

Впервые: *Синий журнал*. 1912. № 17.

Д. Цензор. Кошмар

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 11.

Д. Цензор. Влюбленный призрак

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 1.

В. Ленский. Страшная квартира

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 43.

В. Ленский — литературное имя поэта и писателя В. Я. Абрамовича (1877-1932). Выпускник Харьковского университета с дипломом помощника провизора, до 1901 г. служил в аптеках юга России, где и дебютировал. С 1905 г. жил в Петербурге, издал модернистский альманах *Проталина*, выступал с многочисленными рассказами, опубликовал десяток романов, в том числе неоготический *Черный став* (1917). После революции выступал с рассказами, либретто, сказками в стихах. В 1930 г. был арестован по обвинению в причастности к «антисоветской нелегальной группе литераторов “Север”», приговорен к десяти годам лагерей. Умер в Соловецком лагере.

Н. Потапенко. Комната с привидением

Впервые: *Синий журнал*. 1915. № 30.

Н. И. Потапенко (1892-1974) — младшая дочь писателя И. Потапенко, прозаик, драматург, переводчица, критик. Училась в Театральной школе им. А. С. Суворина. Играла в петербургском Новом театре. Печататься начала с 1904 г., в 1910-х гг. активно публиковала в пьесе рассказы, пьесы, стихи, выступала также как театральный и лит. критик, публицист. С 1919 или 1920 в эмиграции (Стокгольм, Берлин). Автор сборников рассказов, повестей и др. Умерла в Париже.

А. Бахметьев. Враг

Впервые: *Аргус*. 1913. № 6, июнь.

Существуют предположения, что автор — актер и драматург А. И. Бахметьев (ок.1875 – 1920-е?) либо драматург А. Г. Бахметьев.

Старый Курц. Выходец

Впервые: *Всемирная панорама*. 1914. № 258/13, 28 марта.

Настоящее имя автора не установлено.

С. 149. *Вот именно таким-то путем...* — В оригинале публ. пропуск нескольких слов, восстановлено по смыслу.

В. Трилицкий. Расплата

Впервые: *Огонек*. 1913. № 21, 26 мая (8 июня).

В. М. Трилицкий (? – ?) — беллетрист, военный специалист. После Февральской революции сотрудничал с Центральным военно-промышленным комитетом, писал брошюры по вопросам демократизации армии.

С. 158. *...совкая* — в конном деле означает подвижную, гибкую лошадь.

А. Федоров. Призрак

Публикуется по авторскому сб. *Утро* — т. II *Собрания сочинений* (М., 1911).

А. М. Федоров (1868-1949) — прозаик, поэт, драматург, переводчик. Сын сапожника, исключенный из реального училища; в молодости жил в Москве, Уфе и Одессе, работал в газетах, играл на театральной сцене. С 20 лет занимался исключительно литературой; автор романов, сб. рассказов и стихотворений. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию, где преподавал русский яз. и литературу, был одним из учредителей Союза русских писателей и журналистов. Скончался в Софии.

С. 166. «*Illustration*» — точнее, *L'Illustration* — еженедельная французская иллюстрированная газета, выходившая в Париже в 1843-1944 гг.

А. Федоров. Мертвая зыбь

Публикуется по авторскому сб. *Утро* — т. II *Собрания сочинений* (М., 1911).

Б. Семенов. Таинственный рулевой

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 32.

В. Белов. «Летучий голландец»

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 145.

В. М. Белов (ок. 1890-1930е) — беллетрист, журналист. В 1910-х гг. сотрудничал в *Ниве*, *Солнце России*, *Синем журнале*, *Биржевых ведомостях* и др. изданиях. Участник Первой мировой войны в чине подпоручика, награжден двумя Георгиевскими крестами, на основе фронтовых впечатлений опубликовал три книги. В 1920 г. нелегально перешел с семьей эстонскую границу, основал и редактировал в Ревеле газ. *Свободное слово*, занимая сменовеховские позиции. В 1922 г. был выдворен из Эстонии, в 1926 г. из Латвии за просоветскую деятельность. По некоторым сведениям, в 1930-х гг. был расстрелян в СССР как белогвардеец.

Г. Северцев-Полилов. Роковой опал

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 230/37, 13 сентября.

Г. Т. Полилов (1839-1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венеции, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в раз-

личных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.

С. 201. «*Сомнамбула*» — опера (1831) итальянского композитора В. Беллини (1801-1835).

С. 202. *Cual tesoro! Eccellenti!* — Какое сокровище! Превосходные! (исп., ит.)

М. Первухин. Таинственное ожерелье

Впервые: *Всемирная панорама*. 1916. № 377/28, 8 июля, с подз. «Очерк».

М. К. Первухин (1870-1928) — журналист, писатель, переводчик. В 1906 г. был выслан из Крыма за оппозиционные настроения, уехал в Германию, через год поселился в Италии, где жил до самой смерти. В конце жизни запятнал свое имя активной поддержкой итальянского фашизма. Автор многочисленных рассказов, повестей и романов в диапазоне от бытовых до авантюрно-приключенческих; оставил заметное научно-фантастическое наследие, включая первые в русской фантастике романы в жанре альтернативной истории.

История о «янтарном ожерелье Жозефины» — известная мистификация прессы 1910-х гг. Очередные сообщения о скромной американской паре, купившей его в китайском квартале Сан-Франциско и затем продавшей за громадную сумму «Тиффани», вызвали в 1921 г. официальные опровержения Лувра: дирекция заявила, что подобного ожерелья в музее никогда не было.

Балета. Мистическое ожерелье

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 37.

Настоящее имя автора не установлено.

Б. Мирский. Легенда Таврического дворца

Впервые: *Синий журнал*. 1912. № 48.

Б. Мирский — псевд. Б. С. Миркина-Гецевича (1892-1955), писателя, журналиста, юриста и историка права, с 1920 г. жившего в эмиграции.

Ал. Дом с чертовщиной

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 33.

Настоящее имя автора не установлено.

В. Корш. Женщина-призрак

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 195/2, 11 января.

К. Мурр. Кровавые призраки

Впервые: *Огонек*. 1913. № 51, 22 декабря (4 января 1914).

К. Мурр — псевд. Кн. Е. Ф. Цертелевой (1870-1941), беллетристики, драматурга, преподавательницы музыки.

А. Аверченко. Экзекутор Бурачков

Впервые: *Огонек*. 1916. № 52, 25 декабря, с подз. «Святочный рассказ».

А. Т. Аверченко (1880-1925) — писатель-сатирик, драматург, театральный критик, один из самых известных юмористов дореволюционной России и эмиграции. Купеческий сын, не получив-

ший формального образования. Работал писцом в севастопольской транспортной конторе, конторщиком рудника на Донбассе. Начал печататься в нач. 1900-х гг., в 1906-07 гг. редактировал сатирич. журн. *Штык и Меч*, в 1908-1913 гг. *Сатирикон*, в 1913-1918 гг. *Новый сатирикон*. В 1920 г. эмигрировал из Крыма, жил в Константинополе, Софии, Белграде, Праге. При жизни вышло более пяти десятков книг.

А. Измайлов. Досуги сатаны

Впервые: *Огонек*. 1910. № 52, 25 декабря (7 января), с подз. «Рождественский рассказ».

А. А. Измайлов (1873-1921) — литературный критик, прозаик, поэт, пародист. Сын дьякона, окончил курс Петербургской духовной академии. Печататься начал в 1895 г. как беллетрист, с 1897 г. широко публиковался в периодике, с 1916 г. редактировал газ. *Петербургский листок*. Завоевал широкую известность как критик, выступавший вместе с тем против радикального модернизма и авангарда, и пародист (сб. *Кривое зеркало*, 1908, и *Осиновый кол*, 1917). Менее известен как прозаик, нередко склонный к мистической фантастике. После революции занимался культурно-просветительской работой, читал лекции о литературе.

С. 261. *Победоносцева, Игнатъева, Плеве* — т. е. обер-прокурора Святейшего Синода (в 1880-1905) К. П. Победоносцева (1827-1907), члена Государственного совета ген. А. П. Игнатъева (1842-1906) и министра внутренних дел в 1902-1904 гг. В. К. фон Плеве (1846-1904); все это деятели крайне реакционного толка.

С. 263. *...прической Клео де Мерод* — Так называли прическу с прямым пробором и гладкими закрывающими уши прядями, введенную в моду франц. танцовщицей и иконой красоты 1900-х гг. Клео де Мерод (1875-1966).

С. 270. *...Альберта Великого* — Имеется в виду Альберт фон Больштедт (1200-1280), также св. Альберт, выдающийся немецкий средневековый философ, теолог, ученый-энциклопедист, доминиканец, канонизированный католической церковью. Альберту Вели-

кому приписывается множество алхимических сочинений, сборников «магических секретов» и т. п.

С. 272. *...embarras de richesses* — затруднение из-за богатства выбора (*фр.*).

С. 276. *...хериму* — от ивр. *herem*, отлучение.

Н. Энг. Черт Данилова

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 23.

Возможно, автор — прозаик, поэт, издатель, журналист и сценарист Н. Г. Шебуев (1874-1937).

Н. Александрович. Интервью с чертом

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 33.

С. 287. *...Марков-второй* — Н. Е. Марков (1866-1945), политик, один из лидеров Союза русского народа, монархист, черносотенец и животный антисемит; с 1920 г. в эмиграции, с 1930-х гг. пособник нацистов.

С. 288. *...доктора Дубровина* — Речь идет о черносотенном враче, политике А. И. Дубровине (1855-1921), одном из основателей и лидеров Союза русского народа. Был арестован и расстрелян ВЧК.

С. 289. *...Глупышкин* — прозвище комедийного героя французского киноактера и режиссера А. Дида (А. Шапюи, 1879-1940).

А. Бухов. Ночное унижение

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 245/52.

А. С. Бухов (1889-1937) — беллетрист, юморист, сатирик, фельетонист, до революции сотрудник и известнейший автор журн. *Сатирикон* и *Новый сатирикон*. С 1920 г. в эмиграции, издавал и редактировал в Литве газ. *Эхо* (1920-1927). После возвращения в СССР в 1927 г. публиковался в советских сатирических изданиях; по собственным заявлениям на допросах, был осведомителем ОГПУ-НКВД. В 1937 г. был арестован и расстрелян «за шпионскую деятельность». Реабилитирован в 1956 г.

А. Бухов. Чертова правда

Впервые: *Всемирная панорама*. 1915. № 327/30, 24 июля.

А. Бухов. О нечистой силе

Впервые: *Синий журнал*. 1913. № 1.

Н. Архипов. О нечистой силе

Впервые: *Волны*. 1913. № 18, октябрь.

Н. А. Архипов (наст. имя и фам. М. Л. Бенштейн, 1880 – не ранее 1945) — прозаик, драматург, издатель. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Работал судебным писцом, конторщиком, бухгалтером, управляющим на заводе. С 1907 г. выступал в периодике как автор рассказов (зачастую юмористических) и лит. критик; пьесы ставились на столичных и провинциальных сценах. Редактировал и издавал газ. *Современное слово* (1907-08), *Новый журнал для всех* (1908-12), журн. *Новая жизнь* (1910-11, 1913-14), *Новая Россия* (1911), *Свободный журнал* (1913-1916).

Оглавление

Мирэ. Два гнома	8
Мирэ. В безлунную ночь	13
Мирэ. Черная пантера	20
Мирэ. Проповедник смерти	28
Мирэ. Рамбеллино	32
К. Льдов. Ретроскоп	40
Л. Татищев. Башня Сильвио	44
В. Гордин. Страх	50
В. Гордин. Грустная свадьба	54
В. Гордин. Двое	59
Н. Д.-Энш. Мухи	64
Б. Садовской. Муха	68
Д. Цензор. Самоубийство	75
Д. Цензор. Счастливая веревка	81
Д. Цензор. Кошмар	91
Д. Цензор. Влюбленный призрак	102
В. Ленский. Страшная квартира	112
Н. Потапенко. Комната с привидением	121

А. Бахметьев. Враг	130
Старый Курц. Выходец	146
В. Трилицкий. Расплата	152
А. Федоров. Призрак	161
А. Федоров. Мертвая зыбь	170
Б. Семенов. Таинственный рулевой	189
В. Белов. «Летучий голландец»	194
Г. Северцев-Полилов. Роковой опал	200
М. Первухин. Таинственное ожерелье	212
Балета. Мистическое ожерелье	221
Б. Мирский. Легенда Таврического дворца	224
Ал. Дом с чертовщиной	228
В. Корш. Женщина-призрак	232
К. Мурр. Кровавые призраки	239
А. Аверченко. Экзекутор Бурачков	247
А. Измайлов. Досуги сатаны	259
Н. Энг. Черт Данилова	278
Н. Александрович. Интервью с чертом	286
А. Бухов. Ночное унижение	290
А. Бухов. Чертова правда	298

А. Бухов. О нечистой силе	307
Н. Архипов. Статуй	313
Комментарии	325

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.